



KOHETANTUN ESJUTUN



Константин Бадигин

Чужие паруса

Глава первая

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОЛЬФ И СЫНОВЬЯ»

Целую неделю бриг «Два ангела» отстаивался на Ярмутском рейде. Крепкие юго-западные ветры не давали капитану Томасу Брауну войти в Темзу и завершить рейс, длившийся более шести месяцев. Стоянка была беспокойная. Якорные канаты едва выдерживали штормовой ветер; пришлось убрать стеньги, травить до жвака-галса канаты.

Несколько тяжело груженных судов терпели бедствие — их захлестывало волнами. Спасаясь, моряки обрубили мачты, но и это не помогло: один корабль затонул, остальные без якорей и мачт унесло в море...

Но все это позади. Сейчас бриг «Два ангела» спокойно стоит на якоре у лондонского моста среди множества корпусов и мачт. На Темзе тесно: скопище больших и малых кораблей заполнило широкую, многоводную реку. Целая флотилия лодок, барок и яликов снует между кораблями и берегом.

Матросы успели навести порядок на бриге, изрядно потрепанном штормом, приготовили к выгрузке трюмы, наполненные бочками ямайского рома и сахара, и столпились на баке. Предвкушая отдых и развлечения, они перекидывались шутками, с нетерпением посматривая на раскинувшийся по берегам реки величественный город — с широкими улицами, оживленной набережной, множеством дворцов и церквей.

Капитан «Двух ангелов», грузный мужчина с красным мясистым носом, выполнив таможенные формальности, успел солидно выпить. Прихватив с собой слугу — негритенка, он съехал в судовой шлюпке на берег и медленно брел по одной из улиц Сити.

Утром в Лондоне было прохладно. Свежий восточный ветер, помогавший бригу войти в порт, давал себя чувствовать и здесь, на городских улицах.

Томас Браун часто останавливался, с удивлением разглядывая десятки новых домов, красивых и крепких, выросших за короткое время, словно грибы после дождя. Ростовщики и маклеры, надсмотрщики над неграми вест-индских плантаций, дельцы из Ост-Индии, чиновники разных степеней и рангов, разбогатевшие на грабеже колоний и работоторговле, торопились обзавестись уютными гнездышками у себя на родине.

В этой части Лондона царило оживление. Непрерывно катились кареты и коляски; покачиваясь на руках слуг, двигались портшезы. Вереницей тянулись грузовые фургоны; сгорбившись под тяжелой кладью, шли носильщики; степенно прогуливались толпы праздных мужчин и женщин. От множества напудренных париков, роскошных платьев, кафтанов,

расшитых золотом, и дорогих кружев рябило в глазах. Биржевые маклеры, клерки с озабоченным видом куда-то торопились, расталкивая гуляющих.

Здесь кипела торговля. В многочисленных лавках можно купить все, что покупалось и продавалось во всех странах света. На каждом углу торчала вывеска кофейни либо таверны. Часто встречались цирюльни с выставленными напоказ модными париками. У книжных лавок толпились любители новостей. Попадались лавки с корабельными товарами: канатами, якорями, парусиной; кое-где у дверей виднелись железные цепи, ошейники и наручники — предметы, необходимые для работорговцев.

Шкипер Браун был одинок и необщителен. Свободное время он проводил в своей каюте на брига за бутылкой рома либо за конторскими книгами, пересчитывая в который уж раз свою наличность. Только неотложные дела могли заставить его изменить укоренившейся за многие годы привычке. И сегодня шкипер съехал на берег не по-пустому.

На пути из Африки к Ямайке у Томаса Брауна не хватило питьевой воды, и он живьем выбросил за борт сто тридцать четыре негра. Не желая терпеть убытков, он намеревался получить страховую премию. Но страховые дела решаются в суде — надо начинать дело, и шкипер шел посоветоваться с ловким дельцом и пройдохой, стряпчим Самуэлем Клапинсом. Конторой Клапинсу служил замусоленный столик в небольшой кофейной, приютившейся у мрачного здания лондонского суда. Войдя в кофейную, Браун застал стряпчего на своем обычном месте за кружкой пива, углубившимся в чтение «Лондонской газеты», и без обиняков рассказал ему свое дело.

Отложив газету, стряпчий внимательно слушал, изредка прихлебывая пиво.

— Н-да, мистер Браун, дело трудное. Но все зависит от того, как его повернуть. Можно проиграть, но можно и выиграть... — Клапинс достал клетчатый платок, высморкался и долго вытирал нос. — Я бы сказал... э... э... очень трудное дело, дорогой капитан, и эдак сразу я боюсь сказать что-нибудь определенное.

Браун понял.

— Бутылку бренди, — подозвал он хозяина, — и...

— Здесь превосходно готовят жареных кроликов, мой друг, — вмешался стряпчий, облизнув тонкие, губы, — изумительный повар. А соус... вкуснее не сыскать во всем Лондоне.

— Отлично, подайте кроликов, — кивнул хозяину Браун, — только скорее, я тороплюсь на бриг.

— И пива, мой друг, — добавил Клапинс. Согревшись бренди, Сэм Клапинс стал покладистее.

За пять фунтов он обещал написать прошение и вести дело в суде.

— Поймите, мистер Браун, — рассуждал Клапинс, пряча деньги в карман засаленного камзола, — мы сравним ваших негров с лошадьми. Ведь дело о чернокожих ни в чем не отличается от подобного же случая, когда за борт были выброшены лошади. Такое сравнение помогло нам выиграть дело капитана Гопкинса. За каждого негра ему заплатили по тридцать фунтов страховки. В вашем иске это составит кругленькую сумму, мой друг.

Увидев кролика на столе, Клапинс замолк и, глотнув слюну, взялся за нож.

— Советую попробовать, дорогой капитан, — предложил он, кладя в рот сочный кусочек, — изумительный повар... Хорошо, что в Лондоне нет недостатка в пиве... Меня постоянно мучит жажда, мой друг, еще одна кружка была бы не лишней, — снова обрел Клапинс дар речи. —

Могу вам рассказать о другом судебном деле, разбиравшемся недавно в Лондоне, дело, пожалуй, сложнее вашего. Проклятые негры вздумали бунтовать. Это было на «Фениксе». Капитан Арчер приказал стрелять; более ста чернокожих было убито и почти столько же ранено. — Тут Клапинс зажмурил глаза и покачал головой. — Да, судье пришлось поломать голову.

— Ну и как? — заинтересовался Браун.

— Суд обязал заплатить страховую премию только за убитых, а на продаже калек Арчер почти ничего не заработал... Все раненые негры, как неполноценный товар, пошли за полцены. Пришлось смириться.

— Дурак капитан Арчер, — пробормотал Браун, ухмыляясь, — напрасно возился с ранеными Я бы...

— Ваши способности мне отлично известны, дорогой друг, — хихикнул подвыпивший стряпчий. — На вашем бриге, чем ни болей негр, в шанечном[1] журнале появится запись: «Выброшен за борт от недостатка питьевой воды».

Клапинс снова захихикал.

— Вы подумайте, Браун, — продолжал он, — представьте на одну минуту, что королевский суд решит: между людьми и неграми нет разницы. Что ждало бы вас?

— Вздор, разорви вас дьявол, Клапинс! — недовольно оборвал капитан. Подумав, он бросил на стол золотую монету и проворчал на прощание: — Выиграю дело — заплачу проценты.

Выйдя из таверны, Браун свернул в одну из узких улиц с небольшими домиками, тянущуюся до самого берега Темзы. Капитан не любил тратить деньги по-пустому и всегда ходил пешком.

Поплотнее завернувшись в черный плащ, надвинув на лоб расшитую галуном шляпу, он шагал, не оглядываясь по сторонам, не обращая ни на что внимания. У самого порта он, ругаясь, обошел зловонные кучи отбросов и, высоко поднимая ноги, перебрался через потоки нечистот, стекающих в Темзу.

Вот и река. В прибрежных пустырях высились груды привезенных из-за моря товаров, возле них, горланя на разные голоса, суетились люди, длинной вереницей двигались запряженные быками и лошадьми повозки и фургоны с кипами, ящиками, бочками. Поодаль виднелись штабеля корабельного леса, многочисленные стапели, где строились всевозможные корабли; судостроительные фирмы были завалены заказами: не хватало рабочих рук, не хватало хорошего леса, не хватало моряков.

Старая Англия впитывала в себя пот и кровь миллионов черных рабов, изнемогавших на плантациях ост-индских и вест-индских колоний. Это было время, когда англичане не успевали переваривать все то, что попадало в их желудки.

Наконец Браун добрался до берега, где его ожидала корабельная шлюпка. Держась за перила лестницы, капитан разыскал глазами свое судно, выделявшееся среди других добротным видом и величиной. В английском торговом флоте тех времен не так уж много было подобных кораблей. Большинство судов поднимали сто — двести тонн груза. Негров перевозили через океан и на более мелкой посуде. Бывало, что двадцатитонное суденышко вмещало семьдесят чернокожих, а на скорлупку в одиннадцать тонн умудрялись посадить тридцать человек...

Вдосталь налюбовавшись, Браун стал осторожно спускаться по скользким, прогнившим

ступенькам. Внезапно он услышал свое имя.

— Капитан Браун, остановитесь, прошу вас, — кричал пожилой человек в сдвинутой на затылок шляпе; он бежал, размахивая руками.

— От торгового дома «Вольф и сыновья», сэр, — задыхаясь, произнес человек, подавая Брауну пакет.

— Джон Вольф, глава торгового дома, просит меня немедленно явиться для весьма важных переговоров, — бормотал шкипер, читая письмо. — Гм... Джон Вольф — один из самых богатых людей в Англии. Послана карета. Что бы это могло значить? — Браун терялся в догадках. — Где карета... э... э?... — обратился капитан к посланному.

— Томпсон, сэр. Бен Томпсон, сэр, младший клерк, к вашим услугам. Карета ждет вас там, — он махнул рукой, — за этой кучей бочонков с ямайским сахаром. Простите, сэр, сюда было неудобно подъехать...

— Эй, вы там! — крикнул Браун матросам. — Я скоро вернусь! А ты, Цезарь, жди здесь, — приказал он негритенку. — Пойдемте, мистер... э... э...

— Томпсон, сэр, — снова поклонился клерк. Клерк забежал вперед, угодливо открыл дверцы кареты, помог Брауну взобраться на сиденье. Карета тронулась, подпрыгивая и жалобно скрипя на ухабах и булыжниках лондонских улиц. Пока она выбиралась из окраины, капитан успел вздремнуть. Он очнулся в Сити у большого серого дома. Клерк распахнул дверь.

— Прошу вас, мы на месте, сэр.

В кабинете Брауна встретил Джон Вольф.

— Рад вас видеть в добром здоровье, мистер Браун, — любезно говорил добродушного вида старичок, усаживая в кресло капитана. — В наши годы это самое важное. Дела у вас, капитан, идут блестяще, это можно заключить по вашим вкладам за последнее время. Нас всегда радуют успехи клиентов.

— Спасибо, сэр, благодаря неграм и провидению мне жаловаться на дела грешно. Гость и хозяин уселись в кресла.

— Я решил пригласить вас к себе, дорогой капитан, — медленно начал Джон Вольф, — для важных переговоров.

Браун насколько мог вытянул свою короткую шею. Он весь превратился в слух.

— Англия, капитан, нуждается в хорошем строевом лесе, — продолжал банкир, — в пеньке для снастей, парусине и в крепких больших кораблях... Наш банкирский дом обслуживает судостроительные фирмы и заморскую торговлю. Как растет английский флот, вам, мистер Браун, очень хорошо известно.

Джон Вольф закашлялся, хватаясь руками за свою впалую грудь. С трудом подавив старческий кашель, он долго сидел, бессмысленно смотря мутными глазами на Брауна. Но вот банкир оживился.

— Колониальная торговля требует утроить наш торговый флот, а запасы хорошего леса Англия давно исчерпала. Мы не можем до конца истребить свои леса, надо думать о будущем... — Банкир опять стал задыхаться.

— Все это мне известно, сэр, — прервал банкира Браун. — Я хотел бы знать, для чего я здесь?

Джон Вольф пристально посмотрел на капитана.

— Ну что ж, дорогой Браун, перейдем к делу: нам нужны вы и ваше судно для работы на Севере России.

Старый Вольф, по-птичьи подпрыгивая, подскакал к большой карте, висевшей позади письменного стола.

— Вот здесь, Браун. — И банкир ткнул скрюченным пальцем.

— На Севере России? Не слишком ли там будет холодно для меня?

— Наши условия подогреют вас, капитан. За три месяца, проведенные в России, вы получите сполна все, что могли бы заработать за рейс в Вест-Индию с полным грузом черного товара. Это кроме того, что вы получите от нашего агента в Архангельске.

— Я должен возить русский лес в Лондон, сэр?

— Все инструкции вы получите в Архангельске от нашего представителя мистера Вильямса Бака. — Банкир отошел от карты и устало опустился в кресло.

— Здесь я вам скажу одно: ваш экипаж должен состоять из храбрых людей, способных на все. Вы будете конкурировать с русскими, и не исключена возможность нападения этих варваров на ваше судно... Вы понимаете меня, капитан? Если вы нуждаетесь в решительных людях, я дам указание нашему шефу констеблей, и он...

— Это не в диковинку, сэр. У меня есть опыт в таких делах, и мои ребята, дьявол их разорви, не уступят вашим каторжникам, — довольный своей остротой, Браун громко захохотал.

Дикий смех шкипера возмутил Джона Вольфа. Его мутные глаза сверкнули недобрым огнем.

— В Англии нет недостатка в честных людях, — не спуская глаз с моряка, медленно сказал банкир. — Мы могли найти сотни людей, желающих поехать в Россию на наших условиях, но... Нам хорошо известна ваша храбрость, Браун. Известны нам и прекрасные качества вашего брига «Два ангела». Мы считаем его одним из самых крепких английских судов. Итак, если наши условия подходят, — закончил Вольф, подвигая шкиперу лист плотной бумаги, — можете подписать договор.

— Я никогда не сторонюсь выгодного дела, сэр. Это мое правило, — ответил шкипер, взглянув краем глаза на бумагу. — Но прошу учесть: на свое судно я беру восемьсот негров, сэр, и каждый негр приносит мне тридцать шесть фунтов чистой прибыли. Я не считаю доходов от перевозки сахара и рома.

— Как! — в удивлении воскликнул банкир — Вы, Браун, топчете законы! Вы нарушаете правила, установленные парламентом! Ваш корабль не должен брать на борт больше пятисот чернокожих!

— Сэр, — спокойно возразил Браун, — если вы уверены, что мне не придется нарушать законов там, куда вы меня посылаете, законов Русского государства, то я...

— Хорошо, хорошо, мы никогда не спорим о мелочах в крупном деле, — перебил его Джон Вольф. — Вы, я вижу, хорошо знаете, с какой стороны хлеб намазан маслом. Я согласен. — Банкир заскрипел пером. — Надеюсь, вы обратили внимание на первый пункт договора, где говорится...

— Я должен хранить в тайне наше соглашение, сэр?

— О да, разумеется.

Джон Вольф подошел к Брауну. Джентльмены обменялись рукопожатиями, и Браун, напутствуемый пожеланиями успеха, покинул кабинет.

Влезая в карету, Томас Браун решил повидаться со старым Прайсом и разузнать у него кое-что о России и русских.

Перед дверью лавочки с вывеской в виде большой подзорной трубы, искусно выточенной из дерева, он остановил лошадей.

Гейд Прайс, хозяин лавки «Морских инструментов», считался в свое время одним из лучших английских капитанов. На судне Гейда каждый купец был готов отправить самый ценный груз. Капитан Прайс всегда вовремя возвращался в порт, не беспокоя хозяев долгим отсутствием. За свои многолетние плавания старый моряк ни разу не терпел кораблекрушения. Больше двух десятков лет капитан Гейд Прайс ходил в порт Архангельск за лесом, смолой, пенькой и другими русскими товарами.

Оба капитана устроились в маленькой комнатухе позади лавки и вели беседу за чашкой крепкого кофе.

— Итак, Браун, вас интересуют русские как моряки и судостроители? — Прайс собирался с мыслями, задумчиво теребя цепочку с брелоком в виде маленького золотого якорька.

— Я наслушался многих ужасов про русские льды, мистер Прайс. Говорят, плавание среди льдов невозможно и всякое судно, затертое льдами, обречено на верную гибель. Холод будто бы так ужасен, что люди на судне превращаются в дерево, то есть делаются твердыми, как дерево.

Капитан Прайс усиленно задымил своей трубкой.

— Я должен сказать вам правду, Браун. Льды — это вещь серьезная. Но русские их не боятся. На своих кораблях они плавают на Шпицберген, на Новую Землю. У русских многому можно поучиться, — после некоторого раздумья продолжал он. — Я совсем забыл, вы спрашивали относительно карт северных берегов России. У меня есть, но они, к сожалению, не совсем точные. У русских на Севере есть свои карты, куда лучше наших. С помощью русских друзей я благополучно совершал рейсы из Англии в Архангельск; четверть века — не малый срок.

— Но они наши враги, мистер Прайс! — вскипел от возмущения Браун. — Они наши конкуренты в морской торговле. Да и откуда у них могут быть хорошие корабли?.. Раздери их дьявол, они только портят корабельный лес, который нужен Англии.

Гейд Прайс грустно улыбнулся.

— Конкуренты, Браун!.. Но в чем? Русские моряки, насколько мне известно, никогда не оскверняли свой флот работорговлей, никогда не были пиратами. Мне семьдесят пять лет, Браун, из них пятьдесят я отдал нашему флоту и любил его всей душой. А сейчас... мне тяжело говорить об английском флоте... — Глаза старого капитана гневно сверкнули.

Браун, не моргнув, выслушал Прайса. Как ни в чем не бывало он допил свой кофе и стал прощаться.

— Благодарю вас, мистер Прайс, за сведения, но, простите, они мне кажутся невероятными... Конечно, каждый англичанин может иметь свое мнение, но... но иногда бывает так, что в старости у людей мозги, как бы сказать, делаются жиже; семьдесят пять лет — это не шутка, мистер Прайс.

— О нет, Браун, — отозвался старик, — у меня голова свежа... Ведь я не злоупотребляю ромом, как вы, и золото никогда не туманило моих глаз... Впрочем, я желаю вам счастливого плавания и благополучного возвращения... Советую не ссориться с русскими.

Взяв бронзовый подсвечник с тростниковой свечой, Прайс проводил гостя через темную лавку и закрыл дверь.

Глава вторая

КРОВАВЫЙ ТОРОС

Летевший от берега ворон круто свернул в сторону. Описав широкое полукружие, он набрал высоту и, часто замахав крыльями, снова полетел по своему пути.

Внимание старого ворона привлекли люди. Они толпились на большом торосистом поле, оживленно размахивая руками, и кричали. Еще ворон видел четыре больших зверобойных карбаса, доверху нагруженных разным снаряжением. На чистом белом снегу он заметил извилистую линию, тянущуюся от самого берега: это были следы лодочных полозьев и человеческих ног. А впереди раскинулись вширь и вдаль сверкающие на солнце необъятные льды Белого моря.

— На побережник, на побережник, — горланили мужики, следившие за полетом птицы, — на побережник летит!

Быстро удаляясь, ворон превратился в едва заметную точку. А прошло еще немного времени, и острый поморский глаз ничего не мог различить в небесной синеве.

Седовласый Алексей Химков, вожак зверобойной ромши,[2] заметив, куда летела птица, бережно спрятал компасик и спрыгнул с невысокого ропака.

— Ребята, становись в лямки-и-и!.. — крикнул зычно. Промышленники разбежались по своим лодкам, надели на грудь кожаные широкие ремни, поднатужились, и ромша двинулась вперед, скрипя полозьями по убитому ветрами гладкому снегу.

— А что ворон? — налегая на лямку, спрашивал Степана Шарапова Андрей, младший сын Химкова, впервой попавший на промысел. — Куда полетел, почему мы за ним поспешаем?

— На зверовую залежку птица летит, — ответил Степан, — последом кормится. Далеко залетает, ну-к что ж, не боится зимой моря-то. Ворон с высоты куда как хорошо зверят примечает... Смотри под ноги, парень, — поучал он, видя, как Андрей споткнулся, — недолго и обезножить, так-то.

Путь проходил то по ровным большим полям, то по сугробам и грядам ропаков. Разводий не встречалось, шел прилив. То там, то здесь трещал лед, громоздясь в невысокие торосы. Путь становился все труднее и труднее, мореходам приходилось перетаскивать тяжелые, груженные запасами карбасы через ледяные завалы. Здесь люди соединяли усилия и перетаскивали суда по очереди.

Впереди с багром в руках, показывая ромше путь, шел Алексей Химков. Немного найдется в Поморье таких, как Химков, знатоков звериных промыслов в горле Белого моря...

Мезенцы недавно вышли промыслять зверя. Невдалеке еще виднелся невысокий берег, сплошь забеленный снегом. На ярком солнце отчетливо выделялись черные избы,

столпившиеся у самого устья небольшой речушки. Ветерок доносил к людям запах дыма, клубами выходявшего из-под крыш. Казалось, что дома, топившиеся по — черному, загорелись и вот-вот выбьет пламя. Местами у берега высились горы льда.

Хоть и крепко морозило, а от мужиков валил пар; бороды закуржавели, а лица были потные, красные. С трудом уставшие люди волочили карбасы. Незаметно за ропками спряталось багряное солнце. Стало темнеть.

— Стать на отдых, готовить паужну, — прозвучала долгожданная команда юровщика.[3]

Задымились костры. На треноги взгромоздились медные котлы с варевом. Карбасы прикрыли сверху грубым рядном; в каждом припасено большое овчинное одеяло. Вся лодочная артель — семь человек, — чтобы было теплее, ложится вместе и укрывается одним одеялом.

Хороши бывают дни в марте на Белом море — чистые, безоблачные. Ослепляюще горит солнышко, поблескивая на белоснежной скатерти моря. А еще лучше мартовские ночи. Бесконечное темное небо открывает взору свои звездные сокровища, все до единой маленькой звездочки, все, что посильно увидеть человеческому глазу. Ярко светит луна, катясь по далекому бесконечному пути. Мореходы по звездам определяют свой путь, путь, по которому несут их беспокойные льды, по звездам они определяют время. Луна указывает поморам времена малых и полных вод, предупреждает об опасности ледяных тисков на прибылой воде.

Белое море живет. Здесь нет мертвой тишины, как бывает зимой на островах Ледовитого океана. Недаром называют беломорские льды живыми. Они ни часу, ни минуты не остаются в спокойствии.

Сидящие у костров промышленники сквозь льды чувствуют дыхание моря. Оно заставляет торосистые поля и крупные льдины разговаривать между собой то громко, то совсем тихо. Сейчас со всех сторон, словно шелест векового бора, доносился приглушенный шум. Резких звуков, треска и скрипения сходящихся, ломающих друг друга льдов не было слышно. Луна приближалась к южной части горизонта, заставляя морские воды развести, раздвинуть льды.

Отлив был в полной силе. По белому снежному полотну тянулись черные, словно чернильные потоки, разводья и узкие трещины. Несмотря на темноту, они отчетливо были заметны.

— Несет нас знатно, Алексей, — присаживаясь к костру, сказал Степан Шарапов, — ну-к что ж, ежели через два дня не управимся. Кровавого тороса нам не миновать. А там и до беды недолго. Сам ведь знаешь.

— Знаю, Степа, — ответил Химков, — с отцом твоим судьбу пытали, чуть не сгибли. Да и с тобой, помню, горя хватили немало.

Посидели молча, подымили трубками, но разговор не клеился.

— Ну-к что ж, спать, — собрался уходить Степан. Не услышав ответа, он поднялся и побрел к своей лодке.

Завернувшись в теплую малицу и надвинув глубже шапку, чутко, одним глазом подремывал Химков, то и дело встряхиваясь и оглядывая лед.

Около десяти лет прошло с тех пор, как вернулся Алексей Евстигнеевич из далекой зимовки на Груманте. Много морщин добавилось за эти годы на лице кормщика, седого как лунь. Пережитые страдания сказались на здоровье — уже не тот был Химков: болела грудь, ныла поясница. Два последних года старый мореход не выходил на промысел. Нужда не раз

стучалась к нему в дом. Часто хмурил лохматые брови Алексей Евстигнеевич, редко улыбался. Весновальный карбас — вот и все его богатство, оставшееся от грумантских сбережений.

Но в этом году Химков решил снова попытать счастья. Приспело Ивану жениться, а денег на свадьбу не было. Не хотел старый кормщик как-нибудь сыграть свадьбу сына, гордость поморская не позволяла.

Химков вел небольшую ромшу, всего из четырех карбасов. В его артель входил товарищ по зимовке на Груманте Степан Шарапов, старший сын Ваня, младший — любимец и баловень — Андрюха, Семен Городков и еще двое мореходов, товарищей по прежним плаваниям. На трех других лодках тоже были крепкие мужики — все старые друзья-приятели.

А Ваня Химков за десять лет возмужал, превратился в отличного морехода. Второй год плавал он подкормщиком на лодьях. Ростом высок, русоволос, хорош собою, могуч сложением. Характером отважен, но скромн и молчалив.

Тяжел и опасен зимний промысел на морского зверя. Часто гибнут охотники на далеких и пустынных берегах или где-нибудь на льдине, унесенной в море...

Поморский лагерь спал. Дозорный, охраняя сон уставших людей, прохаживался по льду, притопывая ногами, быстро стывшими на крепком морозе...

Начался рассвет. Густые синие тени покрывали ледяные поляны и груды торосов. Но вот заалела на востоке яркая полоска; на снегу загорелись багряные блики, отражая краешек восходящего солнца.

— Вставай, каша готова! — весело горланил дозорный, тормоша зверобоев.

Перебрасываясь острыми словечками, зверобои умылись снегом и расселись с ложками у своих котлов.

За ночь широкая река разрешила льды до самого горизонта. Ее ледяные берега раздвигались, уходили все дальше и дальше... И теперь, совсем рядом, на морозном воздухе дымилось открытое море, далеко уходящее на восток.

Мужики осторожно спускали карбасы на воду. По команде юровщика подняли паруса и, подгоняемые бойким южным ветром, пустились в плавание...

Так в поисках тюленя шла по льдам зверобойная ромша Алексея Химкова, то перетаскивая лодки по высоким торосам, то переплывая широкие разводья и разделы. Кончился день, прошла еще ночь, и, когда солнце снова озарило багрянцем льды, зверобои стали готовиться к промыслу. Залезка тюленей была близка.

Подвязав длинные узкие мешочки с небольшим запасом продовольствия, вооруженные тяжелыми палицами, охотники двинулись на зверя. Оранжевый шар медленно поднимался над морем. Теперь льды под светилом окрасились синью, а разводья казались наполненными оранжевой жидкостью.

Припадая за высокими льдами, бесшумно двигались охотники к залежке. Вот и последняя гряда торосов, окаймляющая ровную ледяную поляну.

— Крепкая льдина, — выглянув из-за тороса, прошептал соседу Иван Химков, — зверь на худой лед детеныша не положит, чутьем знает, где крепко. На такой льдине и за Канин Нос ежели плыть, трещины не даст.

— Бережет дите зверь, — отозвался Шарапов, — на молодом льду не оставит.

Большое поле, в несколько квадратных верст, сплошь было покрыто серебристыми, изжелта-серыми телами зверей; между большими тюленями копошились желтоватые детеныши. Тут были только что появившиеся на свет зеленцы и бельки в возрасте от двух дней до недели.

— Ну, каково зверя? — радостно спрашивали юровщика промышленники.

— Маленько-то есть, — отвечал осторожный Алексей Евстигнеевич, — есть маленько, ребята.

Над льдиной стоном стоял плач голодных тюленят. В разводьях то и дело появлялись отлучившиеся на охоту тюленихи. Они вытягивали из воды свои шеи, стараясь разглядеть среди тысяч орущих малышей своего детеныша. Выбравшись на лед, звери ловко и быстро передвигались, отпихиваясь лапами и скользя по гладкой поверхности. Найдя своего детеныша, мать ласково облизывала его круглую мордашку. Лежавшие на льду самки, повалившись на бок и плотно прижав к брюху катарки, кормили сосунков. Желтый комочек, удобно примостившись к матери, жадно теребил сосок.

Промышленников охватило нетерпение.

— Алексей Евстигнеевич, кабыть самая пора, — сказал лежавший рядом помор.

— Зверя-то что пня в лесу.

— На большой воде начнем. Недолго прилива ждать. Льды сомкнутся, зверю податься некуда, — шепотом ответил Химков, наблюдая залежку. — Что птицы сидят, махалки подняли, — показал он младшему сыну на десяток насторожившихся маток.

И правда, задрав заднюю часть тела и вытянув шеи, они издали были похожи на больших черных кур, сидящих в гнезде.

Алексей Евстигнеевич решил больше не мешкать и подал знак; носошники разбежались по льдинам, ловко орудуя палицами с шипами на одном конце и крюком на другом.

Ваня Химков осторожно подкрадывался к большой жирной тюленихе, спокойно кормившей белька. Заметив охотника, она мгновенно ударилась в бегство. Тяжелое скользкое тело, покрытое короткими жирными волосами, катилось, словно лыжа, пущенная по насту. На снегу оставался след — широкая лыжня, обрамленная по краям отпечатками лап.

Химков со всех ног гнался за зверем. Но тюлениха оказалась быстрее, и если бы не высокая гряда торосов, преградившая путь, она успела бы уйти в воду... Прижатый к ледяной стене, зверь шарахнулся из стороны в сторону и, молниеносно повернувшись, оскалил зубы.

Разгоряченный погоней, Иван торопливо взмахнул палицей, но удар был неудачен. Зверь яростно бросился на Химкова, мгновенно вцепившись крепкими зубами в оружие зверобоя.

— А-а-а, проклятая! — задыхаясь, ругался Иван, дергая за дубинку, стараясь вырвать ее из пасти зверя.

Рванув посильней, он поскользнулся, упал, оставив палицу в зубах тюленихи.

Случившийся поблизости другой зверь со злобным шипением кинулся на неудачливого, безоружного охотника. Но недаром Иван зовется зверобоем: сорвав с руки варежку, он с маху стеганул тюленя по оскаленной морде. Зверь ткнулся в снег и затих.

Тюлениха, схватившая дубинку, рыча и мотая головой, яростно ломала и крошила ее зубами. Но и ее постигла та же участь.

— Спасибо, друг, — тяжело дыша, сказал Иван поспешившему на помощь Степану. — Все теперь. Слаб головою зверь-то.

— Со мной, Ванюха, тоже случаи вышел, — начал рассказывать Шарапов, — помню, впервой я на зверя шел. Дак утельга-то, чтоб ей в поле лебеды, а в дом три беды, палицу бросила да меня за портки ка-ак цапнет. Верить аль нет, портки в клочья разнесла. — Степан весело рассмеялся. — А я с голым задом еле ноги унес... Поплясал на морозе-то. Не ведал я в те поры, что зверь головою слаб... так-то. Долго меня после мужики за портки дергали — пужали... Девки прознали и те, как видят меня: хи-хи-хи да ха-ха ха.

Иван Химков долго хохотал во все горло, хлопая Степана по спине и вытирая слезы.

К заходу солнца все было закончено. Убитых зверей освеживали, шкуры приволокли к лагерю, нанизали их на толстые моржовые ремни, и юрки опустили в воду.[4]

О недавно свершившемся побоище напоминали кровавые полосы, тянувшиеся по льду, пурпуровые лужи крови, резко выделявшиеся на снегу, да дымящиеся звериные потроха.

Осиротевшие бельки, беспомощно переползая с места на место, напрасно призывали своих матерей жалобными пронзительными воплями.

Полярная ночь снова нависла над застывшим морем. Дозорный Иван Химков, задумавшись, сидел у догоравшего костра, уставив застывший взгляд на синие огоньки, струившиеся в углях. Каждый толчок и потрескивание льда заставляли его настораживаться. Словно тяжелые вздохи моря, заглушенные расстоянием, издали доносился грозный гул сжатия... Звуки то утихали, то нарастали вновь. Где-то совсем близко гулко лопнула крепкая льдина; как после взрыва, мелко осыпались в воду обломки, до ушей Ивана явственно доносились всплески и шум взбудораженной воды.

Крылатые мысли перенесли Ваню Химкова в Архангельск. Тесно прижавшись к Наталье, сидит он в маленькой, уютной горенке. Последний, прощальный день.

— Соколик мой, Ванюшенька, — слышится ему ласковый голосок, — светик мой ясный... тошнехонько мне одной. Боюсь, забудешь ты меня, ой как боюсь.

— Мне-то не забыть, любушка моя единственная, ягодка моя красная. Нет у меня другой, одна ты на всю жизнь.

Ваня еще крепче прижимает к себе девушку. Наталья тихонько освобождается из его ласковых рук, пристально смотрит ему в глаза.

— Одна-единственная... Правда? Ну, тогда выпей, — девушка достает из кармана небольшую синюю склянку, — ежели вправду любишь.

Ваня встает, принимает из рук девушки питье.

— А что здесь, Натальюшка?

— Ты пей, не спрашивай.

Залпом выпивает Иван невкусную, пахучую жидкость. Радостно, громко смеется Наталья.

Хлопает в ладоши.

— Теперь ты мой, Ванюшенька, и захотел бы, а на другую не взглянешь. Заговоренное питье, приворотное.

Девушка кладет ему руки на плечи, пристально смотрит на него большими голубыми глазами.

— А, приворожила, проказница... любушка, милая.

Крепко целует Ваня невесту. Без меры счастлив он. Часто колотится полное радостью сердце.

— Вернусь, Натальюшка, с первым судном вернусь, — шепчет Иван, — и свадьбу тотчас...

На одной из лодок зашевелился полог; кряхтя и сопя, кто-то вылезал на лед. Оправив малицу, подтянув бахилы, человек сделал несколько шагов; звонко запел под ногами морозный снег. Иван вздрогнул, обернулся.

— Ты, Степан? — спросил он, приподняв упавший на глаза куколь.

— Я, Ваня, — сиплым от сна голосом отозвался Шарапов. Зевая и зябко поеживаясь, он подошел к потухшему костру.

— Эхма, — поскребывая пятерней бороду, сказал он, — быть великому снегу. Глянь-ка на небо, все тучами закрыло, звездочки единой не видать. Не к добру... ежели дали не видны, с юрками куда уйдешь.

— А что, Степан, — спросил Химков, думая все еще о своем, — как по-твоему, сколь рублей на пай придется? Кажись, зверя неплохо взяли?

— Да уж куда больше... Ну-к что ж. На свадьбу хватит, — догадался Степан.

— По сотенной, верно, набежит... Не томись, Ванюха, отец три пая в карман положит: за себя, за лодку да за юровщика. Теперь твоя доля да братова. А ежели надо, и я свой пай отдам... Эге, брат, с такой деньгой пир на всю вселенную закаташь. Однако, — задумчиво продолжал Степан, — рано шкуру делить, покуда медведь живой... Вот что, брат, со светом нам уходить надо. А ежели повалит снег — дале своего носа не увидишь... Эх, — махнул он рукой, — муторно у меня на душе, Ванюха, глаза на свет божий не глядят...

— Авось с юрками к берегу выйдем, что бога гневишь.

Шарапов не ответил. Посмотрев еще раз на небо, он молча полез в лодку.

Под утро ветер стих, пошел снег, и когда пришло время будить ромшу, снег повалил большими хлопьями, закрыв все вокруг непроглядной стеной. Мужики, протирая спросонья глаза, смотрели, как мягко ложится снег, высыпаясь словно из продранного куля.

— Алексей, — обратились к юровщику озабоченные зверобои, — что велишь?

Химков снял шапку, вытащил из сумки компас, подставил на ветер попеременно щеки. Дул слабый шелоник.

— Отдыхай дале, ребята, поживем — увидим, как быть. Отдыхай, ребята.

Делать нечего, мужики опять залезли под теплые одеяла; кто спит, кто бывальщину рассказывает.

Алексей Химков крепко задумался: он знал, что пройдут сутки, много — другие, и движение льдов приведет к отмелым местам...

Сутки шел снег. Перестал он так же, как и начался, ночью. Теперь в поморском лагере мало кто спал, все с тревогой ждали утра. Алексей Евстигнеевич приказал водрузить во льду

высокий столб, связанный из карбасных мачт. С высоты скорее заметишь опасность.

Первый увидел дальние ледяные горы Степан Шарапов.

«Несяки, — вихрем пронеслось в голове, — деваться некуда».

А Химков не терял времени. Он велел всем надеть мешки с запасом харча, а сам, словно кошка, вскарабкался на столб и долго разглядывал видневшиеся вдали льды.

— Теперь, ребята, разбирай дерево по карбасам, — спустившись на лед, приказал юровщик. Вид его был мрачен, брови нахмурены.

Промышленники поняли: дело плохо. Не спрашивая ни о чем, они быстро разобрали столб и разнесли снасть по судам.

К полудню льды сжало: люди чувствовали, как у них под ногами лопался лед. Там, где высились белые холмы, глухо и неумолчно, словно прибой, шумел лед.

Но вот сжатие кончилось, льдины медленно расплзлись на тысячи кусков. Попав в быстрину, ледяные обломки двинулись к несякам, все ускоряя и ускоряя свой бег.

— Алексей, — снова сказали зверобои, — что велишь?

— Гляди, ребята, — показал Химков, — два несяка рядом стоят. Туда пойдем.

— Он крикнул, помолчал. — На промысел теперь наплевать... самим кабы от смерти уберечься.

«А как же свадьба, как же Наталья? — с отчаянием думал Иван, глядя на тяжелые связки звериных шкур. — Так просто... наплевать, оставить все?!» В шкурах он видел свое счастье, счастье Натальи, брошенное во льдах. И скатал он было его и сладил, да теперь все врозь расплзлось.

— Не горюй, Ваня, — шепнул Степан, угадав его мысли, — дело поправимое.

На выволочном[5] не подвезло, дак на вешнем[6] промысле потрафит. И так и эдак, а к Самсону Странноприимнику с деньгами в городе будешь. — И Степан крепко сжал руку товарища. — Кабы эдак-то обошлось, хорошо... Однако беда не одна приходит — с победушками, вот что страшно.

Видно было, что и остальных мужиков обуревали подобные же чувства. Они с жалостью смотрели на свою добычу, завоеванную с таким трудом у моря, кряхтели, вздыхали. Но каждый понимал справедливость слов юровщика и покорно соглашался с ним.

— Како бог похощет, тако и свершится, — крестясь, громко сказал старик раскольник Василий Зубов, — а без его воли единый волос не упадет...

— Эх, — не выдержал Семен Городков, — нету нам счастья. Под кем лед трещит, а под нами ломится. Лодки бережите, ребята! Без лодок-то... — Он замолчал.

— Несуженый кус изо рту валится. Теперя сначала все начинать, на вешну лыжи востри, — добавил чей-то хриплый голос.

Течение поднесло охотников к несякам. На счастье, начался прилив, и лед стал вновь сходиться. Мужики, подцепив на лямки карбасы, бросились к ледяным заламам; откуда у людей только взялись силы. Едва они подбежали к несякам — началось сжатие.

— Сюда, сюда, — призывно кричал Химков под грохот и скрежетание льда, — сюда, ребята!

Он первый вскарабкался на крепкую льдину, застрявшую между несяками. Поднимаясь вместе с приливом и опускаясь с отливом, льдина не разрушалась сжатием и могла служить надежным убежищем. Такие льдины поморы называют дворами.

Цепляясь баграми, помогая друг другу, гомоня, мужики полезли вслед за своим вожаком. Потянули наверх и тяжелые лодки. Последняя лодка еще была на весу, как все зашевелилось: неподалеку ледяные обломки попали на мелкое место, остановились, на них с шипением полезли соседние льдины. С грохотом и треском в одно мгновение вырос десятисаженный ледяной холм. Горы льда громоздились словно по мановению волшебной палочки там, где отмели задерживали бег ледяного потока.

Поблагодарив бога за спасение, мужики молча смотрели на разбушевавшуюся стихию.

О передний несяк, за которым притаились поморы, как о скалу, разбивались ледяные валы. С шумом и грохотом двигался лед вдоль «двора»; иногда мелкие куски льда, словно ядра, взлетали из-под ног промышленников. Но «двор» держался крепко.

— Ребята, гляди, гляди! — раздался чей-то заполошный крик.

К несякам стремительно приближалась сморозь с большой детной залежкой зверя. Вот конец ее коснулся ледяного холма; сморозь начала дробиться, превращаясь в крошево; быстро уменьшаясь, она словно таяла. Почуввав опасность, тюленихи метались по льду. Но спасения не было: в сжатом льду не уйти зверю в воду. Обезумевших зверей давило льдом; скользнув гладкой кожей, они стремительно подлетали кверху и падали в ледяную кашу. Часто, не выдержав нажима льдов, крепкий кожаный мешок зверя лопался, и внутренности, разлетаясь брызгами, окрашивали лед.... Вой и стенание временами заглушали шум ломающегося льда.

Молодой мужик Евтроп Лысунов, впервые попавший на промысел, закрыл рукой глаза.

— Не, — сказал он с решимостью, — хошь всю казну окладниковскую посули, ноги моей во льдах не будет... Милай, — обратился он к Алексею Химкову, — как у берега станем, отпусти меня ради Христа домой, отпусти, милай! Зверей и то жалко, — со слезой говорил он, — а то ведь и люди так-то бедуют. Эх, жалко-то, — добавил он, глядя, как у самого несяка тюлениха пыталась прикрыть своим телом детеныша, — впору идти зверя выручать.

Зверобои молчали. Видно, им тоже было не по себе.

— Недаром этот торос Кровавым люди зовут, — нарушил молчание Шарапов. — Зверя тут сгибло тьма тем.

Течение вод умерилось. Стало тише. Алексей внимательно следил за льдинами на восток от несяков.

— Тут раздел льда должен быть, прямая дорога к берегу, — показал он на возникшее извилистое разводье, — поспешим, ребята! — Подумав еще, Алексей первым взялся было за карбас. Но коварная природа беломорских льдов не раз обманывала надежды людей. Не суждено было сбыться и расчетам Алексея Химкова.

Глава третья

ГРОЗА НАСТУПАЕТ

Ясное, безветренное морозное утро. Воздух неподвижен. В синем небе, точно нарисованные,

застыли сизые столбы дыма. Лениво поднимаясь из многочисленных труб над крышами городских строений, они расплывались высоко в небе, превращаясь в грибы-великаны на тонких прямых ножках.

Архангелогородцы сегодня усиленно топили печи — старики старожилы прочили лютый мороз. Несмотря на воскресный день, на улицах трудно было встретить живую душу. Редкие прохожие, подняв воротники и надвинув меховые шапки, торопились поскорее добраться к теплоте жилья.

В полдень на главной улице раздалось поскрипывание тяжелых саней. Орала сиплыми голосами прозябшие возчики. Медленно шли усталые, седые от изморози лошади. От Старой Слободы, с Зимнего берега Белого моря двигался обоз, груженный мороженой рыбой. На целую версту растянулись рыбные возы. Когда головные сани с караванным старостой въехали на постоянный двор, хвост обоза только-только поравнялся с городским собором. Постепенно уменьшаясь, обоз медленно втягивался в широкие ворота.

Среди возов, груженных рыбой, выделялись легкие санки с тремя седоками, плотно укутанными в олени малицы и совики. Не доезжая собора, еще не законченного постройкой, сани свернули в сторону набережной и остановились у бревенчатого двухэтажного дома кормщика Амоса Корнилова.

Приезд мезенцев был кстати. Сегодня Амос Кондратьевич праздновал именины своей старшей дочери Анны.

Званных гостей было много, а перемен наготовлено еще больше. Хозяйка достала из резного поставца[7] праздничную посуду. На коленях у гостей красовались шитые полотенца. Стол накрыли полотняной скатертью с набивными узорами домашней работы.

Пир начинался с ухи из сушеных семужьих голов и пирогов с палтусиной и семгой. Гости обносили рыбным студнем, грибными пирогами, жареной бараниной и треской. Среди гостей сидела и вдова Лопатина — мать Натальи.

Аграфена Петровна, тощая старуха с ехидным морщинистым лицом, осаждала мезенского кормщика Афанасия Юшкова.

— Милай, — в который раз спрашивала Лопатина, — так ты говоришь, видел Химкова Ванюшку-то?

— Видел, как не видеть, Аграфена Петровна, соседи ведь.

— Не наказывал он чего Наталье-то?

— Не наказывал, Аграфена Петровна.

— Вот беда-то, а делает он ныне что? — не отставала надоедливая старуха.

— На детной промысел собирался, зверя бить.

— А отец?

— И отец на промысел. — Кормщик недовольно поджал губы, явно не желая дальше вести разговор.

Ничего не добившись, Лопатина решила пригласить Юшкова к себе домой и выпросить все как следует. По совести говоря, она надеялась, что жених пришлет немного денег, как обещал. Но об этом разговаривать в гостях она не решалась.

— Афанасий Иванович, не побрезгуй, зайти назавтрае вечерком к старухе, попотчую чем бог пошлет, поговорим, — ласковым голосом просила старуха. — Помнишь, муж вживе был, так ты сиднем в доме сидел, не выгонишь, бывало.

— Зайду, зайду, матушка, — отмахивался Юшков. — Да ты кушай, смотри, как хозяева угощают.

«Поклонюсь завтра Окладникову, — думала Аграфена Петровна, авось не откажет, отпустит в долг харчей. Да и Афонька Юшков с понятием, от вдовы разносолов не потребует».

На столе появились ягодные кисели с белыми шаньгами, сладкая каша, пироги с черникой и моченой морошкой, изюм, пряники, и кедровые орешки. В кружках пенился хлебный квас и крепкое хмельное пиво.

Раскрасневшаяся Аннушка с поклоном потчевала гостей.

В просторной горнице сделалось шумно и весело. За весельем незаметно надвинулись ранние зимние сумерки. Внесли сальные свечи, стало еще уютнее. Хмель давно играл в головах гостей. Амос Кондратьевич шепнул хозяйке:

— Убирай хлеб, Варвара, занавесь иконы — пусть веселятся. Видишь, у молодых глаза разгорелись, спеть да сплясать охота... А мы, старики, мешать не будем... Милости прошу, — поклонился он приятелям, степенным бородачам-мореходам, — милости прошу в горницу ко мне.

Кормщики поднялись со своих мест и, поблагодарив хозяйку, перешли в мужскую половину.

Теперь на почетном месте сидели гудошник и гусельщик. Гудошник был молодцом с курчавой бородкой, подстрижен в кружок, как стриглись, впрочем, тогда у староверов все мужчины. На нем была шелковая красная рубаха, синий кафтан и бархатные брюки, заправленные в козловые сапоги. У гусельщика волосы давно побелели. Он был одет в рубаху и длинный кафтан «смирного» темного цвета, приличного для людей пожилых и степенных.

Первым начал молодой музыкант: по жильным струнам гудка — поморского инструмента, с виду похожего на мандолину, — он ударил смычком — погудальцем. Тягуче застонал, заплакал гудок, послышались мягкие мелодичные переборы гуслей.

На середину круга первой вышла Аннушка. Она кокетливо поводила плечами, наклонив русую голову в парчовой повязке. Северный мелкий жемчуг, нанизанный на оленьи жилы, матово поблескивал в длинных до плеч серьгах.

Дробно стукнув подковами сапог, навстречу Аннушке вышел молодой носошник Федор Рахманинов.

Хозяйка, сложив на животе руки, умильно поглядывала на свою любимицу. Танцы разгорались, на круг выходили все новые и новые плясуны.

А мореходы сидели в горнице хозяина вокруг тяжелого резного стола и вполголоса вели задушевный разговор.

В дверях показалось озабоченное лицо Варвары Тимофеевны. Она пришла узнать, не нужно ли чего гостям. Не слыша приказа от Амоса Кондратьевича, она отправилась было дослушивать песни. Вдруг ей показалось, что в горнице холодновато. И хотя печи были хорошо топлены. Варвара Тимофеевна решила добавить жару.

Через несколько минут раздобревшая стряпуха Ефросинья внесла на большом железном листе раскаленные угли и медленно стала прохаживаться по горнице.

— Что ты, Ефросинья, делаешь? — испугался Корнилов. — Не холодно нам, и так хоть кафтан снимай, вовсе распарило.

— Пар костей не ломит, Амос Кондратьевич, а тело тешит, — затараторила бойкая баба. — Гостюшкам дорогим угодить надо: чай, намерзлись по дороге, мороз-то лютый. Афанасий Иванович, как из саней вылез, и языком толком не ворочал, я уж заприметила.

Мореходы, рассмеялись, вытирая выступивший пот.

— Ну-ну, Ефросинья, довольно, иди, иди с богом, — отмахивался хозяин.

Стряпуха с ворчаньем вынесла жаровню. Настоящего разговора все еще не было, каждый думал о своем. Наконец Юшков, засмотревшийся на редкую икону новгородского письма, повернулся к товарищам.

— На погибель нашу граф Петр Иваныч сальную контору завел, право слово. Не графское это дело, а промыслам большой убыток. В прошлом году по вольной торговле за пуд моржового зуба двадцать рублей брали, а сей год графская контора десять рублей дает. За большую моржовую кожу четыре рубля, за пуд сала рупь получай. Вот и считай — как раз вполювину. А что делать? Тут и жаловаться некому — сиди помалкивай.

Мореходы оживились и принялись со всех сторон обсуждать «Торговую графа Петра Ивановича Шувалова контору сального беломорского промысла».

— Ежели в расчет взять, сколь лодья стоит да снасть, харчи, одежда, выходит, и в удачливый год дай бог концы с концами свести, поддержал хозяин.

— На Груманте ежели промышлять, там зверя много. Это еще не вся беда, — вздохнув, продолжал Амос Кондратьевич, — о корабельщине подумать надо. Носошник Егор Петрович Ченцов, лохматый седой старик, вскочил с лавки.

— Слыхал я, в селе Устьянском приказчик с пильных заводов баял, будто большие деньги от казны дадены для пользы мореходам: и лес будто для нас рубить и корабли строить. — Старик подтянул штаны, сползавшие с худого живота. — Подрядился будто для нас, мужиков, порадеть господин Бак, а на поверку-то, на поверку, господа кормщики, иначе выходит. — Тенорок Ченцова задрожал. — И лес рубит и корабли строит сей проходимец для иноземной державы, сиречь Аглицкого королевства... Тридцать ластовых кораблей, хвалился приказчик, в прошлом годе отправил в заморье господин Бак.

Мореходы переглянулись. Это известие ошеломило их.

— А я, — насупив брови, вступил Амос Кондратьевич, — от верных людей наслышан, хлопчет господин Бак новое позволение — рубить мезенскую да онежскую корабельщину противу прежнего не в пример больше.

— Что ж, — басовито рявкнул Афанасий Юшков, — начисто сведет купчишка Бак ближний строевой лес. А доведется нам лодейку шить, так и тесины худой не сыщешь.

— Правду говоришь, Афанасий, — вымолвил Фотий Ножкин, старательно водивший пальцем по гладкой столешнице. — Да ежели такие дела, так не только детям али внукам нашим, а нам, грешным, не на чем будет в море выйти.

— Обсказать бы про то лесорубам, — пробасил лысый, с огромным синим носом кормщик Чиракин. — В онежских лесах много устьянских мореходов лес валит, да и сумских посадских немало. Всех-то не мене сорока артелей наберется.

— Да уж обсказал я, как есть все обсказал, — снова услышали кормщики тенорок старика

Ченцова. — Ребята и топоры было побросали... Купец Еремей Окладников, будь он неладен, на те поры случится, в Каргополь по делам гнал... Ребята его обступили, так и так, говорят, не хотим свой лес англичанам отдавать, самим сгодится. Дак что Окладников содеял, господа кормщики, — вынес складень из саней да на иконе пресвятые богородицы поклялся: в Кронштадт, дескать, лес идет, императорские корабли строить. Известно, супротив святой иконы не пойдешь, — понизил голос старик, — а только... врал все Окладников. Ну, а далее вызнал Еремей Панфилич, от кого слух, и наклал мне собственной ручкой по шеям, — с обидой закончил Ченцов.

Кормщики, пряча улыбки в бородах, переглянулись. Последние слова старика носошника развеселили их.

— Ха-ха-ха, — не выдержал смешливый Яков Чиракин. — Собственной ручкой, говоришь, Окладников ошастливил? Ха-ха-ха! Прости, Егор Петрович, согрешил, — утирая слезы, говорил он старому носошнику... — А господин Бак хитер, самому неспособно с мужиками разговоры вести, дак он Еремею Окладникову подряд на вырубку онежских лесов подсунул.

— Как же нам за лес постоять, за мореходство, за промысел? — спрашивал товарищей Афанасий Юшков. — Помоги, Амос Кондратьевич, посоветуй.

— У меня про это думано-продумано, — спокойно ответил Корнилов. — В столицу ехать надо, челобитную царице отвезти. Она Петрова дочь, не должна нас в нужде оставить. Мы ведь тоже державе-отечеству опора.

— Не допустят мужика низкого звания, хотя бы и кормщика, до матушки... челобитную в печку, а тебя в железа, в тайную канцелярию, — с горечью возразил Чиракин.

— Значит, выходит, не мешай их сиятельству из поморов сало топить? А лесу он тебе оставит сколько надобно... на тесовый гроб? — опять вскочил на ноги Ченцов.

— А может, лучше не они нам, мы им на гроб отпустим, а, господа кормщики?

— с угрозой пробасил Чиракин.

— Не горячись, Яков, — по-прежнему спокойно сказал Корнилов, — побереги жар, сколь еще тебе по Студеному морю плавать — сгодится. Попадет наша челобитная к Елизавете Петровне...

— Как же, гуси-лебеди во дворец доставят, — мрачно вставил Савва Лошкин.

— Не гуси-лебеди, — повысив голос, ответил Амос Кондратьевич, — в Санкт-Петербурге, в Академии наук состоит Михаило Ломоносов, сын Васьки Ломоносова, вот он и передаст в собственные руки. Он и есть надежда наша.

— В таком разе поезжай, Амос Кондратьевич, — за всех сказал Чиракин, — поезжай, друг, авось делу поможешь...

Дружно подписали мореходы челобитную императрице Елизавете Петровне, собрали Корнилову деньги на дорогу, поклялись держать все в тайне...

Закончив все дела, мужики решили сойти вниз, поглядеть, как веселится молодежь. Истосковавшийся по табаку Яков Чиракин торопливо набивал трубку. Но мореходов ждала еще одна неприятность.

Под окнами заскрипел морозный снег. Кто-то торопливо шел к крыльцу... Хозяин краем уха уловил незнакомый голос, певуче ответила Варвара Тимофеевна. Затем голоса умолкли, видимо, гость раздевался. В горницу вошла хозяйка.

— Амос Кондратьевич, гость к тебе пожаловал. — Обернувшись, Варвара Тимофеевна добавила: — Проходи, милый человек, тут он, хозяин-то.

Корнилов поднялся с места, разглядывая посетителя.

— Да ведь это, кажись, Карла Карлыч, — признал он конторщика купца Бака.

— Садись, милости просим, — и подвинул стул.

— Я не думал устроить вам помеха, — извинялся неожиданный гость.

Он раскланялся со всеми, сел и вытащил большую трубку.

— Батюшко Карла Карлыч! — вдруг раздался голос Варвары Тимофеевны. Она всегда появлялась словно из-под земли. — Выйди в сени, мил человек, поохладись. Там и покуришь, а здесь грех — иконы стоят, огонек божий зажжен.

Карл Бринер рассыпался в извинениях и, повернув трубку, сунул ее в карман.

— Пива вот нашего отведай, Карла Карлыч, — обратился к немцу хозяин. — Варварушка, подай гостю пивца! Сами варили, на славу удалось, крепкое да пенистое.

Неловкое молчание длилось долго. Гость выпил, но разговора не начинал. Молчали и хозяева. Наконец Корнилов не выдержал:

— С чем пожаловал, Карла Карлыч? Говори, не стесняйся, люди здесь свои — все приятели дорогие... Вот он, — показал Корнилов на Афанасия Юшкова, — первый мореход на Мезени, Новую Землю, как свои дом, знает. Этот вот — Чиракин Яков — грамотей, опись берегам делает, чертежи морские сочиняет. А эти, что рядом сидят, Лошкин Савва и Откупщиков Алексей, молодые мореходы, а глядишь, скоро нас, стариков, за пояс заткнут...

— Ты, Амос Кондратьевич, хвали да не захваливай, — вмешался Юшков, — и получше нас кормщики есть.

— О, очень допрая компания... — оживился Бринер. — Я пришел для очень выгодной сделки. Продай мне ваш рукописный карт и лоций ланд Шпицберген. Пуду дафайт сто руплей за один карта, сто руплей один лоций.

Мореходы переглянулись.

— Зачем тебе, Карла Карлыч, карты? Ты ведь по морю ходить негож, тебя, слышь, море бьет? — осторожно спросил Корнилов.

Бринер замахал руками.

— О да, я море не люпит, много страдал от качка. Это хозяин для английский шкипер покупайт. Шкипер не хочет Шпицберген плыть, льдов боялся. Русский карта надо, где лед дорога показана. Мистер Пак желайт сфой корапль моржи таскать, в Ефропа посылать.

Савва Лошкин тихонько свистнул.

— А губа не дура у твоего мистера Бака — моржей таскать. Много не натаскает. — И он лукаво подмигнул приятелям.

Амос Кондратьевич сразу посуровел, нахмурился.

— Вот что, Карла Карлыч, продавать мне нечего, своих чертежей да лоций у меня нет. Я только до времени пользуюсь, пока хозяину надобности нет...

— О, другая хозяйин... — Немец удивленно уставился на Корнилова. — Какая шкипер?

— Не шкипер книгам хозяйин, Карла Карлыч, народ русский! От пращуров множится в книгах знатство народное.

Немец не понимал, он снова твердил свое:

— Пудь допр, копирку делай, а деньги клади карман. Кормщики весело рассмеялись.

— Хитер ты, я вижу, больно, — ответил настойчивому посетителю Корнилов, — да не выйдет твое дело, не могу я, Карла Карлыч, книги продавать... Было время — верили вам, иноземцам, что знали — показывали, да выходит, на свою голову доверчив русский человек. А теперь мы учёны...

— Я даю полше — дфести руплей книга, дфести руплей карта. Ошень хороший цена, дафай руки пить, ну? — прибавил немец.

— Все равно, сколько ни давай, книгам этим цены нет. Дорого пришлось знатство студеных морей русскому народу. Нельзя купить кровь, жизнь человеческую... Много жизней, тысячи... Нет, Карла Карлыч, не проси.

Вдруг Корнилова будто осенило. Он резко повернулся, пригнувшись почти вплотную к недоумевающему Бринеру.

— А ты, Карла Карлыч, не слыхал, для чего мистеру Баку наши чертежи понадобились? Без обману скажи, ведь мы с тобой в приятелях ходим, — покривил он душой.

— Из Лондона письмо мистеру Паку пришел от торговый дом «Вольф и сыновья». Трепуют срочно русский карта и книга.

Карл Карлыч, вспомнив, что недавно говорил иначе, забеспокоился:

— Я по дружбе сказал, Амос Кондратьевич, пудь допр, не выдай, хозяйин пудет меня опвинять.

Бринер заторопился домой. Корнилов не стал его задерживать.

У хозяина да и у гостей-мореходов настроение было испорчено. Проводив до дверей немца и вернувшись в горницу, Амос Кондратьевич задумался. Смутное предчувствие беды охватило его.

— Н-да, неспроста им морские чертежи понадобились, — прошептал старый мореход, — жди беды, не иначе...

Глава четвертая

ПОДКУП

Утром на следующий день Аграфена Петровна робко вошла в лавку купца Окладникова. Она терпеливо ждала, пока освободится приказчик, отпуская товар двум важным покупательницам.

— Тимофей Захарыч, милай, мне бы мучки полпуда да маслица самую малость, — пропела старуха. — На святой жених вернется, тогда и вернем.

— Полгода, тетка, посулы твои слышим. — Приказчик открыл толстую книгу, перелистал несколько страниц. — Гляди, под сто рублей за тобой.

— Сто рублей, помилуй, Тимофей Захарыч! — Лопатина побледнела. — Неужто такие деньги? Откуда бы... Ошибся, милай, посмотри-ка внове.

— Тут все записано. — Приказчик стал мусолить пальцем по странице. — Муки пшеничной пуд взяла, масла два фунта, круп разных...

— Неграмотная я, Тимофей Захарыч. Обижаешь старуху. — Лопатина всхлипнула.

— Погоди, тетка, плакать, самому скажу, пусть решает. — Приказчик взял книгу и скрылся в дверях.

В ожидании Аграфена Петровна застыла у прилавка. Ждать ей пришлось недолго.

В дверях появился приказчик, лицо его расплывалось в угодливой улыбке.

— Аграфена Петровна, — чуть-чуть склонил он голову, — Еремей Панфилович вас к себе просит, пожалуйста, Аграфена Петровна.

— А мучки отпустишь, Тимофей Захарыч? — удивляясь неожиданной вежливости, допытывалась старуха.

— Да уж иди к хозяину, — распахивая двери перед старухой, ответил приказчик, — он сам скажет.

Еремей Панфилович Окладников поднялся навстречу Лопатиной.

— Здравствуй, матушка Аграфена Петровна, давно не виделись, почитай, как мужа схоронила, — ласково сказал купец. — Садись, дело к тебе.

Лопатина осторожно присела на кончик дубового стула.

— Эй, Тимоха! Поддай-ка наливочку дорогой гостье, — распорядился Окладников. — Да заедков: пряников, орешков поболее. Выкушай, Аграфена Петровна, хороша наливка. — Купец, разливая в серебряные стаканчики золотистую жидкость, не спускал внимательных глаз с Лопатиной.

— Спасибо, Еремей Панфилович, не пью я... да разве с мороза... морозец-то знатный ныне.

— Жениться хочу, Аграфена Петровна, надоело бобылем жить... Наталью хочу сватать, — поставив свой стаканчик на стол, сразу перешел к делу Окладников.

— Что ты, что ты, Еремей Панфилович, — замахала руками Лопатина, — засватана Наталья. Жених Иван Химков, на выволочном промысле зверя бьет, вернется — и свадьба.

— Разве я Химкову ровня? Ему до самой смерти в нищих ходить, а я... а я... похочу — весь Архангельск мой будет! Тебе-то, Петровна, али не надоело побираться, на хлебе да на воде жить? С Химковым породнишься — думаешь, лучше будет? А выдашь Наталью за меня, в шелк да в бархат одену, в холе и довольстве до гроба проживешь. Наталью отдашь — вся лавка твоя... домой носить будут.

Окладников налил еще по стаканчику.

— А что сговор был, того не бойся, Петровна, — вкрадчиво говорил купец. — С деньгами все можно и греха нет.

— Стыдно перед людьми слову отказать... — заколебалась Аграфена Петровна.

— Да пойдет ли Наталья за тебя? Девка-то с норовом — отцовских кровей!

— Аграфена Петровна, матушка, стыд твой деньгами закрою, а Наталья против материнского слова не пойдет, — горячо уговаривал Окладников. — Помоги, матушка, сохну я по Наталье. И богатство ни к чему будто.

На крысиной мордочке Лопатиной выступил пот. Она напряженно думала.

— Помогу, Еремей Панфилович, заставлю девку слово забыть, — решила старуха и потянулась к стаканчику.

Рука ее дрожала.

Окладников бросился к двери.

— Тимофей, — закричал он, — Аграфене Петровне все, что прикажет, — он задыхался от волнения, — все, что прикажут... Одно слово — всем чтоб были довольны!

Аграфена Петровна выждала, пока купец успокоится.

— Однако ты послушай меня, старуху. — Она скромно опустила глаза. — Ключницу-то свою, экономку Василису, из дома вон, негоже невенчанную девку-распутницу в доме держать... Не прогневайся, Еремей Панфилович, а слых-то в городе есть. Ох, грехи, грехи. Не приведи господь. Прознает Наталья, тады не взыщи...

— Завтра выгоню, матушка, — стиснув зубы, ответил купец, — и духу ее завтра не будет. Вот те крест. — Еремей Панфилович перекрестился двумя перстами, глянув на темную икону.

— Ладно, — махнула рукой Аграфена Петровна, — верю, не для меня делаешь... О женишке-то Ваньке Химкове подумал? — Старуха прищурила хитрые глазки.

— А что мне Химков, — с презрением сказал купец, — тьфу!

— А вот и нет, не так рассудил, — запела Лопатина. — Наталью разом не обломаешь: глядишь, на полгода девка канитель разведет. Не взял ты того в расчет. А ежели Ванюшка здесь, в городе, мельтешиться будет? — Старуха развела руками.

— Молодца от крыльца отвадить надобно, права, матушка. А ты как смекаешь?

— Да уж по слабому бабьему умишку... — Лопатина задумалась. — Я бы его поприветила, да на лодью кормщиком, да на Грумант-остров за зверем покрутила, там-то, — рассуждала старуха, — авось зазимует молодец, а тем часом мы Наталью окрутим, понял? — Аграфена Петровна захихикала. — А седни я Наташку обрадую: сватается, мол, Еремей Панфилович. Посмотрим, что девка скажет.

— Ну и голова у тебя, матушка, — удивился купец, — ну и хитра! Отправлю, отправлю молодца за море. А ежели что, и лодьи не жаль.

«С коготком старуха, — подумал он, искоса глянув на Лопатину, — такой палец в рот не положишь — голову откусит».

Аграфена Петровна вернулась домой в разукрашенном возке, на паре дорогих рысаков. Приказчик долго таскал из саней мешки, кулечки, свертки. Уходя, Тимофей Захарыч, осклабясь, низко поклонился Аграфепе Петровне, словно важной барыне.

Но Лопатина чувствовала себя беспокойно. Оставшись одна среди подарков, сваленных

кучей в горнице, она, волнуясь, вынула из шкафчика пузатую бутылку своей любимой наливки. Долго раздумывала, как быть, то и дело прикладываясь к стаканчику... С улицы вбежала раскрасневшаяся с мороза Наталья. Увидев свертки, она захлопала в ладоши, радостно бросилась на шею матери.

— Мамынька, Ванюшка деньги прислал, вот хорошо!

Пряча глаза, Аграфена Петровна отвернулась.

— Откуда деньги, мамынька, али от тетушки из Вологды подарок? — допытывалась девушка. Она достала из кулечка медовый пряник и с удовольствием откусила. — Какой пряник вкусный, мамынька!

Старуха, развязывая и вновь завязывая концы головного платка, думала, как приступить к делу.

— Натальюшка, — вкрадчиво начала она, — каждый день пряники будут. Да что пряники, тьфу! Первой барыней в Архангельске сделаешься. У губернатора на балах танцевать будешь, ежели, ежели...

— Ежели что, мамынька? — не поняла Наталья.

— Ежели за Окладникова замуж пойдешь. Сватался сегодня Еремей Панфилович, — торжественно произнесла Аграфена Петровна. — Счастье-то, счастье привалило... первый купец в Архангельске...

— Как он смел, невеста ведь я! — И, вспыхнув, Наталья с отвращением бросила пряник на пол. Голос ее дрожал. — Ванюшке слово дадено. Люблю я его.

— Брось, милая, про любовь говорить, без денег-то какая любовь, — сердито ответила старуха. — А дети пойдут, нищих плодить будешь?

— Грех, мамынька, вам так говорить. Сами нас с Ванюшкой иконой благословили, опомнитесь, мамынька. — Наталья с трудом удерживалась от слез.

— Бог простит нашу бедность, — не слушая дочь, наступала Лопатина. — Будут деньги, попы за нас молиться станут. Замолим грехи, покаешься, бог простит.

— Мамынька, — все еще не веря, закричала девушка, — опомнитесь! Что люди скажут!

— Еремей Панфилович рты позатыкает.

Наталья опустила на скамью. Долго, шевеля губами, смотрела она на почерневшую от времени икону. Вытерев глаза уголком платочка, девушка твердо сказала матери:

— Не согласна я, мамынька, даже слов ваших слушать. Я Ивану Химкову обещание дала — за него и в замуж пойду.

— Супротив материнского слова не пойдешь, — рассвирепела старуха, — у меня разговор короткий, как скажу, так и будет.

В смятении Наталья поднялась к себе в горенку и в чем была, не раздеваясь, бросилась на постель. Дотемна лежала она, не шевельнувшись, с открытыми, ничего не видящими глазами. Словно сквозь сон слышала девушка, как возилась в кухне Аграфена Петровна: топила печь, ставила тесто, переставляла горшки... Потом зазвонили в церкви, внизу затихло.

Старуха нарядилась в праздничное платье, напялила шубу, повязала платок.

— Наталья, — громко позвала она, — я в церкву иду, замкнись!

Голос матери заставил очнуться девушку. Когда хлопнула дверь и затихли скрипучие на морозе шаги, Наталья быстро собралась и выбежала на улицу. Возвратилась домой она радостная, довольная и сразу же улеглась спать.

Аграфена Петровна долго стучала у дверей.

— Ты что, оглохла, что ли? — войдя в дом, набросилась она на дочь. — Чуть дверь не сломала стучавши. Мороз-то не свой брат.

— Заспала, прости, мамынька, — смиренно оправдывалась девушка, притворно зевая и будто со сна протирая глаза.

— Ну, иди, с петухами, дура, в кровать завалилась, иди досыпай. Других-то насильно в такую рань не уложишь, — ворчала мать.

Скинув шубу, Аграфена Петровна принялась прятать подарки Окладникова, заглядывая в каждый кулечек, разворачивая каждый сверток.

В дверь постучали.

«Кого это бог не впору несет?» — подумала она, торопливо набросив скатерку на большой окорок.

— Ефросиньюшка, ах, боже мой, вот уж кого сегодня не ждала! — затараторила она, притворясь обрадованной. — Входи, входи, милая.

Это была стряпуха Корниловых, давняя подружка Лопатиной. Отряхнув снег с белых узорчатых валенок, гостя с таинственным видом подошла к Аграфене Петровне, расцеловалась. Зорким оком окинув кухню, она сразу поняла — хозяйка разбогатела.

— Дочка дома ли?

— Дома, спит, поди.

— Тес, — зашипела Ефросинья, — тайное хочу сказать, по дружбе, мать моя, упредить.

— Тайное? — Аграфена Петровна всполошилась. — Говори, Ефросиньюшка.

Кухарка, притянув голову приятельницы, зашептала в самое ухо.

— Твоя-то Наташка к нашему хозяину Амосу Кондратьевичу прибежала, плакала. Говорила: ты ее, мать моя, сильем за купца Окладникова выдаешь.

— Ах, проклятая девка!

— Тес, — опять зашипела Ефросинья, — молчи, услышит Наталья — не миновать беды.

— Сказывай дале.

— Христом богом девка твоя кормщиков мезенских просила с собой ее взять. Хочу-де в Слободу, слово Ванюшке Химкову дала. Кормщики через два дня в обрат едут.

— Берут ее кормщики?

— Берут, посулились.

— Что же делать?

Аграфена Петровна, схватив платок, бросилась к дверям. Ефросинья поймала ее за подол.

— Ну и горяча ты, мать моя, поспешишь, дак ведь людей насмешишь. Видать, крепко девка задумала, от своего не отступит. Откройся мне, Аграфенушка, поведай, как и что. Вместе подумаем, авось и толк будет.

Приятельницы долго шептались, ахали и охали.

— Ну, мать моя, дело стоящее. В таком разе и словом поступиться можно. Грехи наши, ах, грехи, все послаще да получше хотим... Пожертвуй на бедность, Аграфенушка, я помогу, уж такое тебе посоветую.

Аграфена Петровна, развязав уголок цветного платка, достала золотой десятирублевик.

— Бери, Ефросинюшка, Еремей Панфилович одарил. А как дело сделаем, будь в надеже, не забуду.

Спрятав деньги, кухарка снова что-то зашептала на ухо Лопатиной.

Аграфена Петровна время от времени кивала согласно головой.

— Ну, кажись, все обговорили, — поднялась гостя. — Наталье ни слова — это перво-наперво. Время не теряй — завтра все свершить надо.

— Спасибо, Ефросинюшка, спасибо, — благодарила Лопатина. Приятельницы снова расцеловались. — Я к самому-то утречком побегу, а там как скажет. На вот орешков еще кулечек, пряничков прихвати.

Старухи распрощались вполне довольные друг другом.

Глава пятая

КУПЕЦ ЕРЕМЕЙ ОКЛАДНИКОВ

К вечеру в городе Архангельске занялась пурга. Ветер посвистывал в голых ветвях заснувших на зиму березок, неистово кружил белые хлопья и, наметая сугробы, нес по пустынным улицам тучи снежной пыли. Ветер с воем вривался в дымовые трубы, выхватывая из топившихся печей снопы огненных искр, и яростно швырял их в темноту, на притихший город. Он уныло гудел под куполом недостроенной громады Троицкого собора, без устали перекатывал по площади прошлогоднее, разлохмаченное воронье гнездо.

В двух окнах нового окладниковского дома, что на Соборной улице, мутнел свет. В малых покоях Еремея Панфиловича, потрескивая, горели оплывшие свечи. За окном бушевала вьюга, а здесь, в горнице, было душно от топившейся большой изразцовой печи. Окладников, в шелковой рубахе с расстегнутым воротом, беспоясый, сидел, облокотясь на стол и подперев голову руками. Босые мозолистые ноги с изуродованными кривыми пальцами покоились на мягкой медвежьей шкуре Купцу жарко; полуседые волосы растрепались и свисали взмокшими прядями на лоб.

Не раз и не два прикладывался Еремей Панфилович к большому граненому стакану с крепкой

водкой. На душе его смутно, невесело. После разговора с Аграфеной Петровной, казалось бы, радоваться только: добился человек своего. А вышло не так. Из головы не выходили слова Лопатиной: «Ключницу-то свою, экономку Василису, из дома вон. Негоже невенчанную девку-распутницу при себе держать... Слых-то в городе есть... Не приведи господь, прознает Наталья, тады не взыщи...»

И он тогда же накрепко положил в своем сердце развязаться с девицей.

Терзаясь недобрым предчувствием, рядом с купцом сидела ключница Василиса в ярком цветастом сарафане. Нежное продолговатое лицо ее было бледно. Глаза, черные, жаркие, обведены темными тенями.

Еремей Панфилович искоса взглянул на Василису. Что-то похожее на жалость шевельнулось в его душе. Но тут же перед глазами встала Наталья.

— Для ради того, как я жениться задумал, — нарочито грубо сказал он, отвернувшись, — м-м-м... — Купец проглотил слюну, жирный подзобник колыхнулся. — Лопатину Наталью сядни сватал...

Василиса ничего не ответила. Она сидела, скрестив на груди руки, низко склонив голову и как-то странно покачиваясь.

— Ну, ну, — уже мягче, с беспокойством сказал Окладников, снова взглянув на девицу, — не брошу тебя... А вместях нам боле не быть.

— Воля ваша, Еремей Панфилович, — едва слышно прошептала Василиса, — а только... вспомните свои слова: богом ведь клялись, как из петли-то меня вынули.

Василиса выпрямилась, их взгляды встретились; купец не выдержал, опустил глаза...

Помнил Еремей Панфилович, все хорошо помнил, хоть и больше трех лет прошло. Ездил он однажды в Москву, в пути прихватила непогода, и довелось ему переждать злую пургу под Ярославлем в графской усадьбе. Разорившийся аристократ, узнав про богатого купца, показал ему Василису и предложил купить ее. Запросил он непомерно высокую цену — пятьсот рублей. По прихоти помещика крепостная девица получила хорошее воспитание, обучилась французскому языку, играла на клавикордах... В шестнадцать лет она стала наложницей графа.

Загорелся Еремей Панфилович, взглянув на Василису. Высокая, грудастая, статная, она сразу покорила его сердце. Не торгуясь, не сказав ни слова, купец выложил деньги. Но девица оказалась непокорливой: в ту же ночь она наложила на себя руки. Перепугавшийся Еремей Панфилович едва успел вытащить ее из петли.

«Василиса Андреевна, — умолял он, ползая на коленях, — не для ради баловства — женюсь, как бог свят, женюсь. А помру, всем достоянием завладаешь, клянусь, — истово целовал он нательный крест, — бога в свидетели беру».

Поверила Василиса. Окладников не врал, он хотел жениться на ней. Но шло время, свадьба откладывалась... Три года промелькнули, словно три дня. Василиса привыкла, привязалась к Окладникову и даже полюбила его. А Еремей Панфилович души не чаял в красивой доброй Василисе.

Но вот как-то раз в церкви увидел купец Наталью Лопатину, и жизнь его пошла кувырком. И чего только не делал он, чтобы завоевать сердце девушки! Правда, все делалось исподволь: он подкупал подарками подруг Натальи, и те нашептывали ей о достоинствах купца. Насылал на нее знахарок и ворожей, пробовал и Наталью задобрить дорогими подарками. Но все

напрасно — девушка была непреклонна. Она любила Ивана Химкова и терпеливо дожидалась, когда он скопит денег на свадьбу. Неодолимое чувство все больше и больше овладевало Окладниковым. И вот решился он подкупить мать Натальи — Аграфену Петровну.

— Не вмолодах вы, Еремей Панфилович, не будет любви меж вами, обман один, — нарушив молчание, с тоской сказала Василиса. — Погубите вы ее и сами згибнете. Жалеючи вас, упреждаю, — махнув рукой, она отвернулась.

Окладников хотел что-то сказать, но смолчал, поджав губы. Видно было, что ему не по себе.

— Куда мне теперича? — перебирая дрожащими руками конец передника, жалостливо спросила Василиса. — Одна дорога мне — на погост.

— Сказал, не оставлю, — пробурчал Окладников, хмуро взглянув на нее, — барыней будешь жить. — Он повернулся к иконам, словно желая призвать в свидетели многочисленных святых в золоченых ризах.

— Оченно вам благодарна, Еремей Панфилович. — Василиса поднялась и, не помня себя, рванулась из-за стола, потянув за собой скатерть. На столе зазвенела посуда... Ухо Окладникова уловило едва слышный шорох удалявшихся шагов.

Еремей Панфилович стер пот с лица подолом рубахи и, тяжело вздохнув, погрузился в мрачное раздумье.

Широкоплечему, моложавому на вид Окладникову перевалило на шестой десяток. Роду он простого, мужицкого. Двенадцатилетним мальчишкой отец отдал его в ученье к односельчанину, мелкому торговцу рыбой. Через три года, скопив по грошам полтора рубля, мальчик сбежал от хозяина. Трудные были первые годы самостоятельной жизни. Однако Еремей Панфилович обладал умом острым, изворотливым и в тридцать пять лет сумел записаться в архангельское купечество. А вскоре, втеревшись в доверие к богатому купцу Шухову, увозом женился на его единственной дочери Катеньке. Правдами и неправдами, а к сорока годам Окладников стал первостатейным архангельским купцом с капиталом в сотни тысяч.

Родители Еремея Панфиловича строго держались раскола. Окладникову это показалось обременительным для дела, и он пошел на обман: открыто ходил в церковь, нюхал табак, употреблял китайскую траву — чай, дружил с православным духовенством. При случае Еремей Панфилович подсмеивался над ревнителями старины в долгополых кафтанах. Но это была лишь видимость: Еремей Паифилович тайком щедрой рукой помогал единоверцам. Он поддерживал деньгами выгорецкие скиты. В голодные годы посылал раскольникам-беспоповцам обозы с хлебом, через третьих лиц задаривал взяткой нужных людей, а случалось — выручал староверов от тюрьмы и ссылки.

Раскольники почитали Окладникова своим благодетелем, прощали ему все, даже богомерзкое крещение щепотью на людях. И в далеких скитах «беспоповского Ерусалима» не забывали поминать Окладникова в молитвах.

Еремей Панфилович владел канатным заведением, где выделывал на продажу мореходам разное смоленое веревье: от толстых якорных канатов и до самой мелкой снасти. Да еще два заводчика числились за Окладниковым; топили там скотское сало на свечи, а жир морских зверей — моржей да тюленей — для отпуска за море. Но и это не все. Окладников держал зверобойные и рыбные промысла, брал казенные подряды, держал обширную торговлю съестным и красным товаром. Все было у Окладникова: здоровье, богатство, почет... Он брал от жизни полной мерой, всегда был бодр и доволен судьбой.

Пять лет прошло, как похоронил Окладников свою Катерину Алексеевну и вел привольную холостую жизнь...

На дворе глухо залаял цепной пес. Стукнула щеколда. Скрипнула где-то дверь... Неслышно к столу подошла Василиса.

— Еремушка, — тихо позвала она. — Еремушка! Купец не шевелился. Девушка присела возле него и осторожно провела маленькой рукой по склонившейся голове.

— А, что?! Это ты, Василиса? — резко вскинув голову, купец стряхнул ее руку. — Что тебе?

— К вам Захар Силыч. — Она рукавом незаметно смахнула слезы. — Шибко просится... Не любя я вам, Еремей Панфилович, али не потрафила чем, скажите, бога для... — зашептала девушка.

— Ну, распустила нюни, — рявкнул купец. Он оправил задрвшуюся рубаху, пригладил ладонями волосы. Послюнив пальцы, снял нагар со свечей.

Испуганно отшатнувшись, Василиса выскользнула из горницы. За дверями послышался негромкий разговор. Осторожно ступая скрипучими сапогами, вошел высокий худой старик в длинном черном кафтане. Лицо его было бледно, глаза лихорадочно блестели.

— Садись, Захар Силыч, — поднявшись навстречу гостю, указал на скамью Окладников, — откушай чем бог послал.

Купец покачнулся, он был в немалом подгуле.

— С просьбой к тебе, Еремей Панфилович, — кланяясь, ответил старик, — беда пришла...

— Пей. — Окладников подвинул гостю стакан хмельного. — Знаю твою беду... Э, нет, пей, Захар Силыч, утешь хозяина, — настойчиво угощал он отнекивающегося старика. — Ежели не выпьешь, и слушать не буду.

Захар Силыч, сдвинув ершистые седые брови, уселся на покрытую ковром лавку.

— Будь по-твоему, Еремей Панфилович, не пью я, да по нашему положению и отказать нельзя, — с горечью отозвался он. — Здрав буди! — Закусив хрустящим соленым огурчиком, старик отставил было чару.

Но Окладников налил еще. Захар Силыч не отказался, выпил. Не отстал от гостя и хозяин.

— Говори, в чем нужда! — икнув, спросил Окладников, тщетно стараясь ухватить пальцами скользкий грибок.

— Деньги надобны. Ежели к завтраму англичанину Баку долг не представлю — разор, долговой ямой купчишка грозит.

— Неужто так! А сколь должен?

— Пять тысяч, Еремей Панфилович, — со вздохом ответил старик.

Всею душой ненавидел Окладников иноземцев. На его глазах разорялась архангельское старозаветное купечество, уступая свое место и капиталы пришельцам. Задумался он: «Деньги большие, однако и человек надежный. Не дам аглицкому купчишке своего, природного купца разорить. Ежели друг другу не подможем, дак они нас по одному всех в трубу пустят».

Но вдруг новая мысль осенила хозяина.

— Дам, выручу, Захар Силыч, — круто повернулся к гостю купец, — однако и ты просьбишку уважь. — Купец налил себе еще чарку и жадно выпил.

— Спасибо, благодетель ты наш, — полез целоваться старик, — уважу, как есть уважу. Ежели надоть, последнюю рубаху для тебя скину.

— На Василисе женись... старуха-то померла у тебя?

Лицо Захара Силыча вытянулось. Он растерянно заморгал глазами.

— Еремей Панфилич, ты что, — шепотом спросил он, — в своем ли уме? Старик уж я, семьдесят годков о рождестве стукнуло... Не могу. — Хмель как рукой сняло. Побледнев еще больше, Захар Силыч поднялся из-за стола.

— Твое дело... А только подумай, — угрюмо сказал Окладников. — Да ты посмотри девку-то, малина! На старости лет вот как утешит... Василиса, — позвал он. Потупив глаза, вошла в горницу Василиса и стала у дверей.

— Смотри, краля какая, — прищурился купец, — тиха, скоропослушна, другой такой в городе не сыщешь. Нут-ко, нут-ко, подь ближе.

Старик Лушников кинул быстрый взгляд на девицу и отвернулся.

— Не, не могу, от дочерей стыд, своих ведь невест дома четверо. Срам, срам, Еремей Панфилич. На людях как покажусь...

Василиса старалась вникнуть в слова, понять, о чем идет речь. Не поднимая голову, нехотя она сделала несколько шагов. Ноздри ее тонкого носа раздувались. Бурно вздымалась грудь.

— Чего морду воротишь? — занозисто крикнул старику Еремей Панфилич. — Пятьсот рублей за нее графу отдал. Да ты лучше смотри. Василиса, скинь одежду-то, пусть жених как след товар смотрит... рубаху оставь. Иди, иди! — строго прикрикнул он.

— Еремей Панфилич, негоже мне... срамно... — Василиса заплакала. — Пожалей, милости прошу.

— Ну, — перекосив рот, топнул ногой Окладников, — смотри! В момент чтобы.

— Он приподнялся и сжал кулаки.

Зарыдав, Василиса выбежала из горницы.

— По-хренцюзки лопочет девка, — сказал Окладников, тяжело опустившись на лавку, — на музыке играет. — Он кивнул на новенькие клавикорды. — А бабу завсегда в страхе держать надобно, — словно оправдываясь, добавил он.

— На што нам, Еремей Панфилич, хренцюзкий, только бога гневить, — с отчаянием ответил старик. — Нет, не можно мне, и жить осталось...

— Деньги-то у меня, — повел нахмуренной бровью Окладников. — А почему пекусь — девку жалею, ласковая она, скромная. Да я жениться задумал, а ежели жена в доме — ключнице невместно. Вот что, Захар Силыч, — он стукнул волосатым кулаком о стол, — в приданое за девкой деньги даю. И чтоб завтра свадьба. Ну, как ты меня понимаешь? Каков я человек есть?

Старик Лушников опешил и, выпучив глаза, молча стал теревить седенькую бороденку. — Эх, Еремей Панфилич, — сморгнув слезу, сказал он, — позоришь ты мои седины. Ежели б не

разор, да разве я на такое дело... Души у тебя нет. — Старик с укоризной посмотрел на Окладникова.

Заметив, что брови купца свирепо нахмурились, он поднялся, кланяясь на иконы, несколько раз истово осенил себя двоеперстным крестом.

— Согласен, — тихо, почти шепотом, произнес он, повернувшись к Окладникову.

— Давно бы так. — Купец опрокинул новую чару. Поперхнувшись и залив бороду водкой, он нюхнул кусочек черного хлеба. — Чтоб завтра свадьба, слышишь?

— Еремушка, зачем? — услышали купцы испуганный дрожащий голос. Василиса стояла босая, в одной сорочке. На щеках непросохшие ручейки слез. — Три года с тобой как жена с мужем жили, не губи, смилуйся.

— Снимай рубаху, девка. Пусть жених смотрит, — совсем охмелев, кричал Окладников.

— Побойся бога, Еремей Панфилич! — поднялся старик Лушников. Его трясло словно в лихорадке. — Почто позоришь, человек ведь!.. Василиса Андреевна! — Он низко поклонился ей. — Не обессудь, прости старика, просил он, стараясь не смотреть на оголенные матово белые плечи, — уйдите отсель, Василиса Андреевна. — Выйдя из-за стола, Захар Силыч полегоньку вытолкал ее из горницы и затворил дверь.

Старик Лушников недолго сидел у Еремея Панфилича. Поклявшись жениться на Василисе, он, пьяненький и печальный, пошатываясь, поплелся домой. * * *

На другой день, окунув тяжелую голову в ушат с ледяной водой, Окладников принялся за дела. Приказчик Тимофей Захарыч докладывал ему о вчерашней выручке в лавке. В дверь заглянула Аграфена Петровна, давненько дожидавшаяся купца в сенях.

— Еремей Панфилич, — запела она сладким голосом, — к тебе я, дело есть.

— Нут-ка, Тимофей Захарыч, — распорядился купец, — выдь-ка, друг, отсель да двери прикрой... Садись, Аграфена Петровна, сказывай. Не случилось ли что? — Короткопалыми волосатыми руками он взял жбан с холодным квасом и с жадностью сделал несколько глотков.

— Случилось, Еремей Панфилич... Да ты не бойся, дело то поправимое, — заторопилась старуха, взглянув на Окладникова, и выложила ему все начистоту.

— Вот что, миленький, — закончила она, — хочешь, чтоб девка твоя была, давай лошадок. Отвезу я ее к братцу в скиты выгорецкие, глядишь, скоро и свадьбу сыграем.

— Эй, Петька! — гаркнул Окладников.

В горнице, осторожно ступая, появился краснорожий кучер Малыгин в полушубке, опоясанном кушаком, и теплой шапке.

— Закладывай лошадей, — грозно сказал ямщику купец. — В Каргополь и дальше поедешь — словом, куда Аграфена Петровна приказать изволят. Ежели хошь одна душа узнает, куда и зачем ездил, головы не сносить, понял? — Купец свирепо уставился на него красными с перепоя глазами. — А ты, матушка, иди домой, готовь дочку к отъезду... Скажи братцу своему да игумену: отблагодарит, мол, Еремей Панфилич... Да знают они меня. А ежели, не дай бог, что случится, — с тебя первый спрос. На вот, — Окладников вынул кошелек, — на дорогу да скитам подношение. Не скупись, матушка.

НА КРАЮ ГИБЕЛИ

И откуда только взялся ветер, завыл, заметался по снежным сугробам. Закурились поземками льды. Порывы снежного вихря тучами вздымали мелкий морозный снег. К стремительной быстрине палой воды приспела могучая сила ветра. Загудели идущие на приступ льды. Все новые и новые горы вздымались из ледяного хаоса. Затряслась, ходуном заходила мощная льдина под ногами зверобоев.

Отворачиваясь от леденящих ударов ветра, люди сбились в кучу возле Алексея Химкова. Ужас и растерянность были у всех на лицах. Старый мореход понял: мужики ждут его слова. «Что сказать?» — молнией пронеслось в голове. Разве он знал, выдержит ли спасительная льдина бешеный напор льдов? А больше надеяться не на что. Зверобои на острове, а вокруг них ходили грозные ледяные валы.

И Алексей Химков молчал — сказать было нечего.

Ветер все крепчал и крепчал, гуляя по просторам Белого моря. С новой силой закружилась пурга. Еще громче затрещали льды, грозно напирая на стамухи... Вдруг что-то ухнуло под ногами, загрохотало, и мощная льдина, содрогаясь, медленно поползла в сторону, в гремющий поток, на беспощадные жернова ледяной мельницы.

Яростный порыв ветра бросил в глаза людей холодное облако мелкого сухого снега. Дышать стало трудно.

— Лодки, лодки! — раздался чей-то вопль, заглушенный ветром.

Мужики оглянулись; сквозь крутящийся в воздухе снег темнела зловещая трещина — «двор» раскололся надвое. Меньшая половина, та, где хранились лодки с запасами зверобоев, стремительно двинулась навстречу ледяному потоку. В какой-то миг один край ее поднялся и все, что было на ней, очутилось в ледяном крошеве. Зверобои видели, как обломок, с шумом всплескивая воду, опрокинулся на деревянные суденышки...

Другая половина, с людьми, недолго постояла на месте. Вращаясь то в одну, то в другую сторону, льдина медленно сползала с холма, пока ее не подхватил ледяной поток.

Видя смертельную опасность, зверобои растерялись; одни молились, упав на колени, другие сидели молча, закрыв глаза. Некоторые плакали, мысленно прощаясь с ближними.

Никто не думал о спасении; все ждали смертного часа.

Но обломок был крепкий и тяжелый. Оказавшись по другую сторону стамухи, впереди нее, он избежал сокрушающего сжатия.

Первым это понял Алексей Химков. Но он также знал, как мало надежды на спасение. Могучие ледяные поля, увлекаемые течениями и ветрами, перевалив через банки и отмели, превращались в ледяное крошево, где, словно островки, были вкраплены обломки тяжелого льда, случайно уцелевшие от разрушения. Одним из таких обломков и была льдина мезенских зверобоев.

«Ежели горние[8] ветра падут, — думал Химков, — за неделю в океан вынесет — смерть. Стихнет ветер — начнут вертеть, таскать воды — то прибылая, то убылая, закрутят на одном месте — месяц и больше пройдет. Что тогда?»

— Эх, судьба, судьбишка, подвела ты меня, старика, — не утерпел, пожаловался Алексей Евстигнеевич.

— Валяй, не гляди, что будет впереди, — сквозь шум пурги услышал он знакомый голос. — Ну-к что ж, Алексей, и хуже бывало. — Рука Степана нашла руку товарища и пожала ее.

Потеплело на душе Алексея.

— Спасибо, друг, — откликнулся он. — А надея на бога больше, — приблизив вплотную к Степана бровастое лицо, добавил юровщик.

— Богу молись, а к берегу гребись, — ответил Степан. — Что говорить, дело тяжелое, дак ведь не впервой.

— Багор в руке да нож за поясом — и снаряда вся. Дров ни щепки, хлеба ни крошки и лед ходячий. Ни овчины, ни постели — спать-то как? — Алексей помолчал. — Страшно, Степа, не за себя страшно, три десятка человек жизни лишатся.

— А в мешках харч? — напомнил Шарапов.

— На день кладено, на два растянуть можно — вот и весь запас. Молись да крестись — тут тебе и аминь. — Химков тяжело вздохнул.

— Ну-к что ж, одно помни, — посуровев, сказал Степан, — доколе жив человек, должна в нем надея жить. Другим чем пособить не можешь — надею у людей не губи.

Он повернулся и шагнул к мужикам. Сильный порыв ветра сбил его с ног.

— Врешь, не умрешь, — сказал он себе, поднимаясь, — не умрешь, Степан. Раз хочешь жить, не умрешь... Что, мужики, пригорюнились? — очищая лицо и бороду от налипшего снега, сказал он. — На всякую беду страха не наберешься. Ну-к что ж, юровщик наказал спать валиться. Рядком по два ложись, один другому ноги в малицу для сугрева. Главное, не робь, — подбадривал он.

Не стихая, целые сутки дул штормовой ветер. Сутки продолжалось величественное шествие морских льдов в океан. Но вот стихло — унялась пурга, сквозь тучи проглянуло солнце.

Как ни присматривались зверобои на все четыре стороны — вокруг один измелченный лед. Куда делись огромные ледяные поля, покрытые искрящимся на солнце снегом! Мелкий тертый лед, всплывшие разломанные подсоны,^[9] перемешанные с мокрым снегом, выглядят серо и грязно. Ежели случатся крепкие морозы, они быстро скуют воедино это ледяное месиво, но ненадолго. Несколько теплых дней — и сморози снова распадутся на мелкие куски.

Округлая льдина, служившая убежищем зверобоям, была небольшая, поперек едва двадцать сажен. После многих сжатий она, словно гривой, обросла ледяным валом высотой в рост человека, превратившись в подобие котла.

Тоскливо было на душе мореходов. Голодные желудки ни минуты не давали покоя. Люди берегли каждую крошку хлеба — впереди маячила страшная голодная смерть.

Крикнув Степана и старшего сына, Алексей Евстигнеевич перебрался через ледяной забор на смерзшееся крошево. Поковырявшись в ледяных завалах, мореходы нашли тушу зверя, погибшего в тот памятный день.

— Бревнышка бы, щепочек, — с тоской говорил Степан, волоча на льдину промерзшую утельгу, — огонек бы развести, мяска нажарить, все бы лучше.

Через два дня, когда все было съедено до последней крошки и дальше терпеть голод было невмочь, Алексей разрубил пополам звериную тушу. Половину он разделил на двадцать восемь частей и роздал всем поровну. Остальное мясо и жир припрятал.

— Погань, — с отвращением жуя, сказал Евтроп Лысунов, молодой семейный мужик, — жую вот, а как сглотну, не ведаю.

А вот как, — показывал Степан: пересиливая отвращение, он с трудом проглотил несколько кусков. — Ничего, жевать можно, сочное мясо-то, — попробовал он пошутить.

Но стерпеть Степан не смог. Болезненно морщась, он выблевал все на снег.

Семен Городков, молодой мужик с крупными угловатыми чертами лица и суровым взглядом, хищно шевеля челюстями, упорно жевал твердое мясо.

— Кто брезгует, ребята, давай сюда! — крикнул он, проглотив последний кусок. — У меня шестеро сынов дома ждут... мне погибнуть нельзя... Кто сирот накормит? — Получив от кого-то еще кусок, он опять с упорством задвигал челюстями.

Несколько человек съели свою долю без остатка. Другие, пожевав, долго отплевывались. Артель старовера Василия Зубова от сырой тюленины наотрез отказалась.

— Не приемлем, — строго сказал Василий, — не запоганим себя, чистыми умрем.

Прошло еще несколько дней. Ветра дули слабые, но устойчивые, от юга-запада. Каждые шесть часов неудержимо расходились льды, возникали большие и малые разводья и снова сходились. Там, где были разводья, вырастали гряды торосов; многочисленными рубцами покрывали они однообразную серую поверхность льдов.

А берегов все не видать.

Умер Иван Красильников. Похоронили у тороса, завалив льдом и снегом. Пели погребальную.

Вскоре Степан Шарапов разыскал во льду еще одного зверя.

— И скудно, да угодливо. Не богато, да кстати, — шутил он, разглядывая громоздкую тушу тюленя.

Зверь оказался лежалый, с душиной. Съели и его зверобои. Насильно, со слезами ели, рвало их.

В разводьях изредка показывались тюлени и нерпы; животные выползали на лед, часами грелись на солнце. Но сил упрямить зверя у людей не было. Лежали молча, почти не шевелясь, изредка перебрасываясь словом. У многих отекли ноги, опухли пальцы на руках. Бредили, в бреду вспоминали родных, смеялись, плакали.

Староверы готовились помирать. Вынули из мешков заветную смертную одежду. Надели длинные белые рубахи, саваны, венцы на голову, а малицы натянули поверх — побоялись холода. Только старик Зубов малицу не надел, помирать решил крепко. Поклонился на юг, родной земле, покорно попросил прощения у мужиков, расстелил на лед свою малицу и улегся, замотав тряпкой голову.

Утром Егор Попов, зверобой из артели Зубова, лишился разума: порывался куда-то идти, бранился, сквернословил, бросался в полынью. Его схватили и снова уложили на место. Ночью Алексей Евстигнеевич, спавший с Андрюхой, спрятав ноги в его малицу, проснулся от истошного вопля. Егор Попов, рыча, брызгая слюной, колот пикой молодого парня Петруху

Белькова. Химков бросился к обезумевшему мужику и схватил его за руки. Попов кусался, хрипел, плакал. На помощь Алексею Евстигнеевичу подоспел Степан и старший сын Ваня.

— Посторонитесь, добродетельные люди! — Василий Зубов в саване, с венком на голове и с топором, пошатываясь, подошел к Егору. — Не даст он нам замереть спокойно, — лязгая зобами от холода, сказал старик, — порешу его. — Он поднял топор.

— Крест на вороту есть у тебя, а? — кинулся к Зубову Алексей Евстигнеевич. — Ваня, Степан, держи!..

— За такие дела, не говоря худого слова, да в рожу, — отбирая топор у старика, пробасил Степан. — Ишь праведник — покойником нарядился!

Старик был лыс. Узкая полоска изжелта-белых волос обрамляла голый шишковатый череп. Вместо бороды седой волос торчал кое-где жидкими космами. Синий бугристый нос огурцом повис над губой. Саван, длинная рубаха, смертный венец придавали старику отталкивающий, дурацкий вид.

Собравшиеся мужики с отвращением и ужасом глядели на Василия Зубова.

— Рылом не вышел меня учить, — дрожа всем телом, бормотал Зубов, — юровщи-и-ик, нет таперя твоей власти, кончилась, что похочу, то и сделаю.

— Не моги так говорить, — сжав кулаки, закричали разом зверобои. — Самовольно одежду смертную вздел... не по уставу.

— Юровщику перечить не моги, — шагнул вперед Степан. — Ежели совет хочешь дать, давай учтиво и не спорно. А по морскому обыкновению за такие слова вот что положено. — И Степан поднес кулак к носу Зубова. — Не седые б твои волосья!

— Табашники, погань! — Зубов злобно плюнул и отошел к своему месту. Отбросив малицу, он лег прямо на голый лед. В неудержимом ознобе забилося худое тело.

— Упрямый старик, — сожалея, сказал Химков, — раньше времени на тот свет собрался. Помирать-то не в помирушки играть. — Он вздохнул.

А небо было все такое же ясное, светлое. Короткими днями ярко светило солнце, а по ночам мерцали извечные таинственные звезды. Иногда небо пылало сполохами, переливаясь разноцветными огнями.

В одну из таких ночей молодому мужику Евтропу Лысунову, тому, что жалел на стамухе зверей, стало совсем плохо.

— Алексей Евстигнеевич, подойди, — тихо попросил он.

— Что, Тропа, занемог? — склонившись к больному, участливо говорил Химков. — Ничего, выдюжишь. Берег скоро увидим, там люди.

Лысунов молчал, слушал и блаженно чему-то улыбался.

— И мне, Тропа, тяжело. Сил нет. Ноги не держат, отяжелели, страсть, — пожаловался Химков. — Дак я старик, а тебе...

— Мужики на тебя, как малые дети на матку, глядят, — еще тише ответил Евтроп, — а мне, а я... — он гулко кашлянул, — опух, кровь изо рта сочится, гляди. — Он провел по губам ладонью. — Алексей Евстигнеевич, — вдруг взволновался Евтроп, — прими. — Он сорвал с шеи простой медный крест. — Сыну, Федюнь-ке... благословение мое... Еще Ружников

старшой мне за якорь рупь должен... жене пусть отдаст.

Евтроп закрыл глаза и затих.

— Евтропушка, милый, — взял его за руку Алексей, — очнись!

Лысунов открыл на миг глаза, зашевелил губами.

— Шепчет, а что? — Химков наклонился.

— Молитву пролию... ко господу... и тому возвещу... печаль мою.

— По умершему молится, — отшатнулся Алексей, — по себе молитву читает.

Губы перестали шевелиться, затих навеки Евтроп, без жалоб, словно заснул.

Алексеи перекрестился и закрыл ему глаза.

— Седьмой богу душу отдал, — сказал он вслух. Тяжело опираясь на багор, Химков отошел от умершего.

— Что там, Алеша? — посмотрев на товарища, прервал разговор Степан.

Махнув рукой, Химков молча примостился на льду, положив голову в колени Андрея.

— Ну-к что ж, говорю, — помолчав минуту, начал Степан, — вернемся мы на землю, поедешь ты, Ваня, в город. Там Наталья ждет. Глядишь, и свадебка. Попируем. А, Ваня?.. А там детишки пойдут, сынок. Смотри, Степаном сына назови, — строго добавил Шарапов, — зарок мне дал, помнишь?

— Не верю я, Степа, что землю увижу... — начал было Иван.

— Увидим, Иван, как бог свят, увидим! Не пало нам хорошего пути, ну-к что ж. Не моги и думать, а там, глядишь, и Андрея женить черед выйдет, небось высмотрел девку-то себе?

Андрей смущенно улыбался.

— А ты, Степан, — спросил Иван, — на чужие свадьбы всегда первый зачинщик? А сам холостым ходишь. Не сыщешь все себе?

Степан стал серьезным.

— Баба гнездо любит, а я волю... — с грустью вымолвил он. — Да и молодость прошла, кто за меня пойдет? Девка Маланья разве? — снова шутил он.

— Которая? — с любопытством спросил Андрей. — Наша слободская, Малыгина красавица?

— Така красава, — смеялся Степан, — что в окно глянет — конь прынет, а на двор выйдет — три дня собаки лают.

На сумрачных изможденных лицах мужиков показалась слабая улыбка...

Так шли дни — холодные, безрадостные. Алексей Химков вел им счет, делая зарубки на древке своего багра. Крепился старый мореход. А годы все больше и больше давали себя знать.

— Степа, — шептал Алексей Евстигнеевич, корчась по ночам на льду, — смерть, видно, пришла, дышу чуть, тяжело, который день согреться невмочь.

— Чуть жив, а все же не помер, — строго отвечал Степан, — бога благодари.

— Зачем мучения терпеть! Не сегодня, потом умрешь, все равно от смерти не спасешься, — тосковал Химков.

— Умереть сегодня — страшно, а когда-нибудь — ничего, — старался разубедить его Степан. — Жизнь надокучила, а к смерти не привыкнешь, не своя сестра... Сломил тебя жизнь, Алеша, — помолчав, сказал он, — жив останешься — в кормщику не ходи: и лодью и людей сгубишь. — Шарапов вздохнул. — А ведь раньше кремень был — не человек.

— И так тяжело, а тут вши. Живьем скоро съедят, — жаловался юровщик. — Смотри. — Химков вытащил из-под воротника горсть копошащихся паразитов. — Люди из терпенья вышли. Свербит все.

— Ну-к что ж. Была бы голова, а вши будут. Божье творенье, куда денешься, — расчесывая под малицей грудь, не сдавался Степан, — отпарим в бане.

Прошла еще неделя. Еще отмучились четверо. Остальные лежали в полузабытьи. Мало кто мог двигаться, сделать несколько шагов. Уже не пели погребения над мертвыми, не хватало сил. Были бы морозы — многих бы еще недосчитались зверобои за эти дни. Но, к счастью, пал теплый ветер, отошла погода. Однако дни стояли пасмурные, серые. Часто налегал туман, моросило.

— Расскажи, Степушка, бывальщину, утешь, милый, — попросил Семен Городков.

— Утешь, Степан, — раздались еще голоса, — не откажи.

— Рассказать разве? — Степан задумался. — Погоди, ребята, вспомню.

Кто мог, собрались все. Мужики хотели послушать Степана, хоть немного отвлечься, позабыть льды, голод, страдания.

— Ну-к что ж, расскажу вам про слово русского кормщика. Давно это было. Еще дед мой, помню, рассказывал. — Степан откашлялся. — Шел кормщик Устьян Бородатый на промысел, — полилась его негромкая речь. — Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи тулились у берега. Довелось ему ждать попутную воду у Оленины. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей. Устьян говорит: «Самоединушко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: „Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет“».

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь. — Степан подобрал ноги, сел поудобнее. Посмотрел на мужиков.

— А олений пастух, — снова начал он, — пошел в прибрежные ропакы, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово: «Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет».

Медведь это дело отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю.

Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.[10]

Степан умолк. Молчали зверобои.

— Хорошо, да мало, — нарушил тишину Семен Городков. — Еще бы, Степушка, рассказал.

— Нет, не могу, други, не идут из души слова, — жалобно ответил Степан.

Мужики, поблагодарив рассказчика, с сожалением разбрелись по своим местам.

Степан Шарапов был такой же, как прежде: веселый, неунывающий, с доброй, отзывчивой душой.

Время пощадило его. Степан был молод с виду, только голова совсем белая... Еще на Груманте, в страшную голодную зиму, пошел он один добывать зверя для больных товарищей, провалился в разводье и чуть не замерз; тогда и поседели волосы у Степана. Небольшого роста, сухощавый, легкий на ногу, он всегда успевал быть там, где нужны теплое, приветливое слово или товарищеская помощь.

На четырнадцатый день скитаний разъяснило. Солнышко светило как-то особенно весело. А дни и ночи опять стали морозные. Тела умерших закоченели. Синие, с желтыми пятнами лица покойников неподвижно глядели в звезды. Мертвые лежали голые, вплотную друг к другу. Одежду надели оставшиеся в живых.

Давно умер Василий Зубов. Заблудившийся во льдах песец успел обкусать ему нос и щеки... Песца мужики словили обманом и съели целиком вместе с потрохами.

Едва сдерживая стоны, Алексей Химков полз к наторошенному по краям льду. Он надеялся в тихий ясный день увидеть землю. Пересиливая себя, искусав в кровь губы, юровщик забрался на вершину гряды.

— Ребята, — не своим голосом вскричал он, — ребята, берег!

Несколько мужиков из последних сил, на четвереньках поползли к торосу. Химков лежал без сознания. Подползший к нему Степан долго оттирал товарища снегом.

— Лодку бы, — прохрипел Семен Городков, — мигом бы к матерой пристали. А теперь что?

Худой, страшный, он силился подняться на ноги. Мысль о судьбе шестерых малышей, оставшихся дома придавала ему силы, и Семен встал, держась за глыбу льда.

— А ежели восточный ветер падет, — раздался вдруг робкий голос, — тогда...

— Ежели да ежели, — рассердился Степан, — каркаешь, словно ворон. Разгадай, Панфил, лучше загадку... Скажи, когда дурак умен бывает?

Мужики молчали.

— Не разгадать тебе, милай, — обождав немного сказал Степан. — Тогда умен бывает, когда молчит, ась? — Степан вдруг замолк и, прикрыв ладонью глаза, стал выглядывать льды.

— Ну-к что ж, мужики, — обернулся он, — конец мученьям. Лодки, люди на лодках. — Он сказал эти слова тихо, чуть не шепотом. — П?том всего прошибло, — шептал он, счастливо улыбаясь. — Не думал живым быть, и во снах того не снилось, — словно в забытьи повторял он.

Все произошло так неожиданно, так невероятно. Появилась надежда — воспрянул дух. Начались толки, разговоры.

— Наволок-то знамый, — показал Степан на темнеющий мысок. — Помнишь, Алексей, тоже смерть рядом была? Зарок еще дали часовню сладить, коли живы будем.

Приподнявшись на локти, взглянув на берег, Химков кивнул головой.

— Ну и как, воздвигли часовню-то? — спросил кто-то.

— Как же от слова отступиться — богу ведь дадено! Часовня и по сей день стоит. Вон она, вон чернеет.

Зверобои связали поясами багры и, надев на конец чью-то малицу, стали ею помахивать.

Наступил отлив, показались разводья. Люди на лодках стали грести к льдине: они давно видели знак, ждали воду.

Мужиков, и живых и мертвых, случившиеся зверобои перевезли на долгожданную землю. Живых сволокли в баню, а мертвых похоронили.

Несколько дней отсиживались мужики в теплой избе, понемногу привыкая к пище. Жизнь медленно овладевала ослабевшими телами.

Алексей Химков все эти дни не вставал с полатей. Он надрывно кашлял, хватаясь худыми руками за грудь; дрожа, кутался в овчину; вдруг ему делалось жарко, он задыхался, просил открыть дверь, остудить избу...

На Никиту весеннего день выдался теплый, погожий. Солнышко, проникшее в поварню через маленькое оконце, взбодрило старого юровщика. Он, кряхтя, слез с полатей, помолился на икону Николы-чудотворца, покровителя мореходов, сел на лавку и позвал старшего сына.

— Прости меня, сынок, — с грустью глядя на Ивана, сказал он, — не сумел тебе свадьбу справить, а теперь и вовсе не в силах. Да и ты ослаб, отощал, сгибнешь во льдах, ежели внове на промысел выйдешь. — Старик перевел дыхание. — А в силу войдешь, на Грумант под-кормщиком иди, Амос Кондратьевич завсегда тебя примет, вернешься и свадьбу справишь... Не сумлевайся, Иван, подождет Наталья, — заметил Химков, увидев в глазах сына сомнение, — подождет, — повторил он. — Ну, а ежели ждать не похочет, плюнь, не томись. На такой сударыне мореходу жениться — и дня в покое не жить.

Иван, склонив голову и потупив глаза, почтительно слушал отцовы слова.

— Оправишься дома-то, — снова начал Алексей Евстигнеевич, — в город поезжай. А мы с Андрюхой сами управимся, авось не пропадем... Степан мне вчера говорил, с тобой на Грумант пойдет, охота ему помочь свадьбу тебе справить.

Ночью Ивану приснился сон. Будто идет он один в бескрайной снежной тундре. Идет тяжело, еле ноги переставляет в глубоком снегу. Торопится, томится душой. Откуда ни возьмись, навстречу бешено катит тройка вороных лошадей. Весело звенят бубенцы. Все ближе тройка, и видит Иван: разукрашенные лошади и сани наряжены в цветы, в ленты. «Свадьба», — догадался он. Встрепенулось сердце; еще тяжелее стало на душе Ивана. Тройка мчится мимо, покрикивает ямщик, храпят горячие лошади...

Взглянул на невесту и пошатнулся — это Наталья.

«Ванюшенька, спаси! — отчаянно кричит девушка, протягивая к нему руки. — Спаси, ненаглядный мой!»

Иван рванулся, хотел прыгнуть в сани, выхватить Наталью, но вдруг ушел по плечи в снег... Хотел он закричать, но голоса не было.

Жених в лохматой волчьей шубе и бобровой шапке оглянулся и с ухмылкой бросил Ивану горсть золотых монет.

Заскрипев зубами, Химков проснулся и, вскочив, дико глядел на закопченные стены поварни,

на сидевших рядом товарищей.

— Во снах что привиделось? — участливо спросил Степан, тронув Ваню за плечо. — И спал-то немного, с воробьиный нос всего, а вопил да вертелся — не приведи бог.

— Мало спал, да много во сне видел, — с тоской ответил Иван, стараясь вспомнить лицо жениха. — И сейчас сердце унять не могу... Беда с Натальей приключилась...

Не смыкая глаз до утра, ворочался на полатях Ваня, раздумывая, как ему быть, но придумать ничего не мог.

Утром за окнами поварни заскрипел снег, послышались громкие голоса. Выбежав во двор, мужики увидели десятка два оленьих упряжек. Это кочевники ехали в Старую слободу за припасами. Несказанно обрадовались зверобои, быстро договорились с добродушными ненцами, всегда готовыми услужить хорошим людям, и в полдень быстрые олени помчали их домой.

Глава седьмая

ОБМАНУТАЯ

Ровно через час Петр Малыгин на паре серых откормленных лошадок лихо подкатил к дому вдовы Лопатиной.

— Эй, хозяйка, — затарабанил он кнутовищем в дверь, — выходи, лошади поданы.

— Остолоп неумытый, — сразу отозвалась старуха, выскочив на крыльцо. — Чего стучишь, двери поломать хочешь? Сама вижу, не слепая чать. Наградил бог дурака силой, а ума то и нет.

— Ну, ну... Вишь ты, — пяясь к саням, забормотал ошарашенный ямщик. — Ничего не содеялось твоим дверям-то.

Аграфена Петровна вынесла из дома два небольших узелка, позвала дочь, закрыла на тяжелый замок двери и, перекрестив дом, полезла в сани.

Хмурясь, Малыгин усадил поудобнее закутанную в две шубы старуху, помог Наталье, спрятал под сиденье узлы и, причмокнув, дернул вожжи.

Проехав почти весь город, Петряй остановил лошадей у небольшого, совсем еще нового дома. Здесь была лавка; на одном окне вместе с копченым сигом, выставленным напоказ, лежали гвозди и подковы, красовались цветистые платки. На другом — топоры вместе с косами и граблями. Сапоги и валенки окружали штуку черного сукна. Над окнами было выведено корявыми буквами: «Торговое заведение».

Малыгин покосился на старуху. Задремавшая было Лопатина очнулась и смотрела на него бессмысленными со сна глазами.

— Подковок купить надобно, — буркнул Петряй, резво слезая с передка. — Не в пример прочим, здесь подковы хороши.

Время шло, ямщик не показывался. Старуха стала терять терпение. Наконец дверь распахнулась, и в клубах пара показался Малыгин, держа за руку раскрасневшуюся толстую

девку.

Увидев разгневанное лицо Аграфены Петровны, Малыгин заторопился.

— Прощайте, Марфа Ивановна, как ворочусь, перво-наперво к вам. — Он с неохотой выпустил руку девицы и, оправляя на ходу пояс, направился к саням.

— Ты что, тесто с хозяйкой ставил, а? — набросилась старуха. — Безбожник, подковки надоть купить, — передразнила она, высовываясь из саней. — Вижу, вижу, подковала тебя хозяйка-то. У, толстомясая! — Лопатина посмотрела на девку. — Пстой, пстой, парень, — спохватилась она, пробежав быстрыми глазками по дому. — А ну, скажи, молодец, чей дом-то?

— Чей? Марфы Ивановны Мухиной, собственный дом-с, — залезая в сани, ответил Малыгин.

— Мухиной... Марфутки? Ха-ха! — ехидно засмеялась старуха. — А не братца ли моего Аристарха, а? О прошлом годе строен... он самый... и петух на крыше. — Лопатина презрительно сжала губы. — Вот уж в скиты придем, расскажу отцу нарядчику, кто к нему в огород повадился. Шерстка-то не по рылу, молодец.

Услышав занозистые речи Лопатиной, девка, подбоченясь и сверкнув глазами, собиралась вступить в бой.

— Мамынька, — вмешалась Наталья, — зачем зазря людей обижаете?

Малыгин, кинув испуганный взгляд на крыльцо, вскочил с маху на облучок и полоснул кнутом лошадей.

Застоявшиеся лошади рванули, санки, заскрипев на морозном снегу, помчались вперед.

— Воля ваша, а только понапрасну стращаете, Аграфена Петровна. — Ей-богу, говорить-то вашему братцу не о чем, — обернулся Малыгин к старухе. — Других легко судим, а себя забываем...

Закрыв глаза, старуха молчала.

По Петербургскому тракту ехали хорошо: дорога накатанная, санки легкие. Лихих людей бояться не приходилось: Малыгин то и дело обгонял длинные обозы, идущие в столицу, разъезжался с резвыми почтовыми тройками, встречал пустые розвальни с мужиками, возвращавшимися с базаров и ярмарок.

Весна этот год запаздывала. Несмотря на март, погода держалась морозная, ветреная. Однако в крытом возке Лопатиным было тепло: Наталью грело молодое сердечко, а старуха подбадривала себя любимой наливочкой.

В Каргополе Малыгин запряг лошадей гусем и снял войлочный верх саней. Сам он уселся верхом на передовую, пегую кобылку. Выехав из города, ямщик свернул с большой дороги и вез Лопатиных по зимнему пути. Там, где можно, дорога шла по замерзшим озерам и речкам, а больше — напрямиком, в дремучем лесу. Ямщик часто нагибался, вглядываясь в едва заметную нить санного следа, узкая дорожка извивалась между деревьями, то теряясь из глаз, то вновь неожиданно появляясь.

Укутавшись в две овчинные шубы, обвязавшись пуховыми платками, Аграфена Петровна спокойно спала.

На заезжих дворах, пригубив любимой наливочки, Лопатина до хрипоты торговалась за каждый грош, ругала хозяев за нетопленую избу, за грязь, за тараканов, за клопов,

беспокоивших ее по ночам. Но стоило Аграфене Петровне очутиться в санях, она, удобно примостившись в мягком сене, тут же безмятежно засыпала.

Прошло еще три дня в дороге. Как-то, остановившись на ночлег в деревушке, стоящей как раз на полпути от скита, Малыгин вошел в избу, где расположилась старуха.

— Дале одним ехать опасно, — вертя в руках кнут, сказал он, — не без лихих людей лес, за лошадей боюсь... ежели что — головы не сносить от Еремея Панфилыча. Волки опять-таки. Ехать одному не стоит.

— О лошадях печешься? — набросилась на него старуха. — А ежели время волочить будем, прознает Наталья, не захочет в скит ехать — тогда, мил человек, что запоешь? За Наталью Еремей Панфилыч вовсе тебя со свету сживет. Лошадей поминаешь, — презрительно сощурилась Аграфена Петровна, — а главное-то и забыл.

Малыгин долго чесал в затылке, переминался с ноги на ногу, но возразить бойкой старухе не смог.

Утром, поминая Аграфену Петровну черным словом, он надел тулуп, подпоясался, запряг лошадей и, посадив в сани Лопатиных, повез их дальше.

День был солнечный, светлый, ласковый.

— Мамынька, ах, мамынька, смотрите, как красиво! — то и дело вскрикивала Наталья, любуясь лесными великанами, покрытыми искрящимся на солнце снегом.

Но старуху Лопатину трудно было расшевелить. После крепкой наливки она отвечала мычанием да густым храпом.

— Мамынька, — вдруг встрепенулась Наталья, — скоро мы в обрат будем? Ванюшка-то по зимней дороге в город собирался. Пешком, говорил, пойду, а к егорьеву дню буду.

— Не заблудится без тебя Иван, — отрезала старуха, — подождет, не велика пташка. Вспомнишь мое слово — приедет, а денег-то нетути; опять свадьбу отложит. Насидишься в девках, милая, с таким женихом.

У Аграфены Петровны чесался язык с перцем вспомнить Химкова, да боялась она: не дай бог Наталья догадается — все прахом пойдет.

— Ну и пусть, — горячо ответила девушка, — десять лет милого буду ждать, раз слово дала. Лишь бы он меня не забыл... Скучно без Ванюшки, мамынька, — пожаловалась она, — сердце изболелось.

Старуха сердито посмотрела на дочь.

— Сухая любовь только крушит, милая. Однако жди, дело твое, неволить не стану.

— Спасибо, мамынька, — Наталья с благодарностью посмотрела на мать. — И Ванюшка спасибо скажет, всю жизнь не забудем.

Петр Малыгин давно понял всю подноготную старухиной затеи. Он жалел девушку, но вмешиваться в окладннковские дела боялся.

Услыхав краем уха разговор Лопатиных, он в сердцах про себя стал ругать Аграфену Петровну.

«Ну и старуха, ведьма, — думал он, трясаясь на жесткой спине кобылы. — А дочка

несмышлениш — „мамынька“ да „мамынька“. Такой бы мамыньке камень на шею да в прорубь. Дите родное продает. Гадюка! И почему на свете так устроено, — рассуждал он, — где любовь, там и напасть?»

Наташа радовалась, глядя на закиданный глубоким снегом лес, на белок, скакавших с ветки на ветку, на всякую птицу... Все ее восхищало, все ей было интересно, куда и зачем она едет, Наташа не знала, Аграфена Петровна обманула ее, сказав, что дядя, старец Аристарх — нарядчик в выгорецких скитах, — болен.

— Видать, перед смертью братец повидаться захотел, — с тяжким вздохом говорила она, — годов-то много.

И Наталья, девушка с отзывчивым, добрым сердцем, не могла не согласиться навестить старика; она даже обрадовалась.

«Уеду подальше от проклятого купца. Пройдет время, вернусь, а тут и Ванюшка подоспеет», — думала она, собираясь в дорогу. О сватовстве Окладникова мать обещала больше не вспоминать.

На крутом повороте санки разнесло и с размаху стукнуло о дерево. Аграфена Петровна подала голос:

— Петька! Осторожней, дьявол, деревья считай, бока обломаешь... Верстов-то много ли до заезжего?..

— Десятка два будет, а может, и поболее, да кто их мерил, версты-то! Говорят, мерила их бабка клюкой да махнула рукой: быть-де так, — отшутился ямщик. — Тпру, милые! — вдруг остановил он лошадей.

Спрыгнув со своей кобылки, Малыгин долго ходил по снегу. Он нагибался и что-то рассматривал то в одном, то в другом месте, причмокивал губами и качал головой.

— Беда, — подойдя к саням, сказал ямщик, — волки недавно здесь были. — Не зная, что делать дальше, он старательно стал очищать кнутовищем валенки от налипшего снега.

— Поезжай скорей, дурак, — сказала старуха, — опять время тянешь. Господи царю небесный, и наградил же ты меня остолопом! Ну, чего ради ты на снегу топчешься, бестолочь... Тьфу!

Малыгин обиделся.

— Да ты вот так, а другой, поди, и не эдак... — не находил он слов. — Твоя воля, а мы тут, выходит, ни в чем не причинны. — Он нахлобучил шапку, для чего-то снял и вновь надел обе рукавицы.

— Дурак, прямо дурак! Охота мне твою гугню слушать, бормочет невесть что. Да поезжай ты бога ради! Тебе-то заботы много ли: расшарашил ноги да и покрикивай на лошадок.

Ямщик не сказал больше ни слова, взобрался на гнедую кобылку, и Лопатины снова тронулись в путь.

Незаметно кончился короткий зимний день. Наступил тихий вечер. Полная луна выплыла из-за облаков, разливая всюду спокойный серебристый свет. Вековые разлапистые ели, засыпанные сверкающим снегом, стояли неподвижно, словно придавленные тяжестью. В лесу ни звука, ни движения. Даже глухарь, одиноко сидевший на суку, нахохлившись, не шевельнулся, когда лошади пробежали под ним, а ямщик чуть не зацепил его шапкой.

В мертвой тишине далеко разносился назойливый скрип полозьев, бодрое пофыркивание лошадок. Изредка потрескивали раздираемые морозом деревья да с глухим шумом осыпался снег с отяжелевших ветвей.

Ямщик на передовой лошадке смешно дергал руками и попрыгивал. Иногда он, забывая пригнуться, задевал головою низко склонившиеся ветви, и снег, словно нарочно, осыпался в сани, вызывая недовольное бурчание Аграфены Петровны и веселый смех Наташи.

Но вот новые, незнакомые звуки нарушили лесную тишину, они слышались где-то далеко позади. Лошади прянули ушами и прибавили ходу. Звуки повторялись вновь и вновь. Ямщик испуганно обернулся.

— Волки! — крикнул он. — Слышишь, воют окаянные. Но-о-о! — задергал он вожжами. — Но-о-о, милые!

Почуяв зверя, лошади и без кнута бежали резво. Прижимая уши, они испуганно храпели.

— Мамынька, проснитесь, волки... Проснитесь же, мамынька! — будила Наталья мать. — Волки, мамынь-ка...

Аграфена Петровна испуганно оглянулась. Там, где слышался звериный вой, она увидела огоньки волчьих глаз; огоньки то зажигались, то гасли.

— Спаси и помилуй нас бог, страхи какие! — закрестилась старуха. — Погоняй, Петька! — взвизгнула она вдруг. — Погоняй! Погоняй!

Но ямщик ничего не слышал. Ругаясь и крича, он вовсю нахлестывал лошадей... Лошади понесли, не разбирая дороги. Сани с визгом кренились то на одну, то на другую сторону, каким-то чудом не переворачиваясь.

Обернувшись, увидев разъяренных зверей совсем близко, ямщик с новой силой принялся нахлестывать лошадей.

— Девонька, — словно во сне услышала Наталья его отчаянный крик, — топор... обороняйся!

Наталья очнулась. Огромный матерый волк, опередивший остальных, приближался к саням большими прыжками.

— Погоняй! Погоняй! Погоняй! — не переставая, визжала обезумевшая от страха Аграфена Петровна.

Поняв, что помощи ждать неоткуда, Наталья обрела решимость. Нашарив в сене топор, она, не спуская глаз со страшного зверя, приготовилась защищаться.

Распластавшись в погоне, волчья стая охватывала широким полукругом лошадей и сани. Загнанные лошади из последних сил бежали по глубокому снегу.

— Миленькие, наддай! — подбадривал ямщик, дергая поводьями. — Миленькие, не выдай... Эх, родные, золотые! — вопил он срывающимся голосом.

— Погоняй! Погоняй! Погоняй! — отчаянно раздавалось из саней.

Вожак, огромный матерый волк, настигнув сани, высоко подпрыгнул. Наталья вскрикнула, не помня себя, ударила зверя в раскрытую дымящуюся пасть; волк, кувырнувшись в воздухе, тяжело рухнул в снег. Голодные волки, бежавшие сзади, тотчас окружили жоака и, словно сговорившись, дружно бросились на раненого зверя. В ушах Наташи дико отзывалось

грозное, предсмертное рычание.

Остальные звери, обогнав сани, бросились на гнедую кобылку. Лошади круто рванули в сторону. Сани с ходу зацепились за торчавший из снега пень, затрещали и остановились. Рванувшись вперед, обезумевшая лошадь оборвала постромки и вынесла ямщика из кольца волчьей стаи. Гнедой в яблоках жеребец бился, издавая отчаянное ржанье, силясь освободиться от застрявших саней. Грозно рыча, волки скопом обрушились на беззащитное животное.

— Дурак, дурак, погоняй... погоняй... — шептала старуха, раскрыв в ужасе глаза.

Неожиданно раздалось четыре выстрела. Наталья видела, как два волка, вцепившиеся в лошадиную шею, мешками свалились в снег... Видела она, как огромная собака с лету сбила широкой грудью третьего волка.

Четверо мужиков в коротких малицах, гикая и размахивая руками, быстро приближались к саням...

Глава восьмая

ЗЕМЛЯКИ

Через неделю после отъезда Аграфены Петровны из Архангельска собрался в Питер Амос Корнилов. Малорослые крепкие мезенские лошадки быстро несли деревянные сани, лихо закатывая на поворотах. Зима разгладила дорожные ухабы и рытвины. На разъезженном пути санки встряхивало только изредка, да и то по вине дремавшего ямщика. Давно уж проехали старинный город Каргополь; позади осталось много деревень и сел, дремучие леса и бесконечные озера и реки.

Вот перед глазами возник небольшой городок Поле Лодейное, стоявший на реке Свири. А сейчас и Поле Лодейное позади; давно укрылись за лесом церковные колоколенки тихого городка; и снова снег да бесконечная лента зимней дороги...

Задремавшего морехода разбудил грозный окрик. Лихая тройка почтовых лошадей, звеня бубенцами, обгоняла санки Корнилова. Горластый ямщик из озорства полоснул кнутом по мезенским лошадам. А лошадки оказались с норовом: рванули, санки понесло в сторону и зацепило за почтовый возок.

Пока ямщики обменивались «любезностями», разнимали постромки, Корнилов успел разглядеть закутанного в меха человека. Он узнал известного в Архангельске купца — англичанина Вильямса Бака.

Давно скрылась почтовая тройка за поворотом дороги, затих звон колокольчиков, и ямщик давно перестал ворчать, а Амос Кондратьевич не мог успокоиться. Неприятен был Вильямс Бак Корнилову.

В пасмурный мартовский день санки Корнилова миновали редкий еловый лесок и въехали в улицу, нечасто уставленную домишками. Ближе к Неве улицы стали оживленнее, дома наряднее и выше. Многочисленные сады и парки украшали город, над голыми вершинами деревьев стаями носились горластые вороны. Столица строилась: то там, то здесь высились кучи кирпича, горы леса, стояли кадки с известкой. По пути встречались розвальни, груженные бревнами и тесом. Наряду с роскошными дворцами, богатыми лавками и разодетой праздной толпой в столице со всех сторон глядела бедность и нищета. Корнилова

поразило множество нищих: оборванные и грязные, они на всех углах протягивали руки прохожим.

Но вот загремела музыка. На широком проспекте показались всадники. Уступая дорогу, Амос Кондратьевич подогнал свои санки к обочине и велел остановить лошадей у табачной лавки с золотой трубкой вместо вывески.

Под торжественные звуки церемониального марша один за другим проходили эскадроны драгун. Корнилов с любопытством принялся рассматривать пышную парадную форму, сверкающее оружие, богатые седла с яркими попонами.

Посмотреть на занятное зрелище народу собралось много. По обе стороны дороги, ругаясь и толкая друг друга, толпились мастеровые с топорами и пилами, крестьяне в рваных шубенках, лакеи в разноцветных ливреях, мелкий торговый люд.

— Дрягуны, дрягуны, — кричали со всех сторон, — пруссаков бить идут!

— Весной запахло, — раздался чей-то скрипучий голос позади Корнилова, — зашевелились наши полководцы. Ежели государыня Елизавета Петровна, дай бог, не помре, летом о новой виктории услышим.

Мореход, закрытый высоким воротником бараньего тулупа, незаметно обернулся. Два господина в дорогих шубах стояли у дверей табачной лавки, посматривая на всадников. Один из них — высокий старик с бледным худым лицом, другой — молодой, краснощекий, дородный. Старик опирался на толстую трость с костяным набалдашником.

— Я не могу взять в толк, ваше сиятельство, — отозвался воркующий тенорок, — какое касательство имеет здоровье государыни к победам нашего воинства?

— Ах, мой друг, но сие так просто, — снова заскрипел старик. — Елизавета Петровна совсем плоха, мой друг... А будущий император Петр Третий почитает прусского короля Фридриха за первейшего друга; когда русские бьют пруссаков, наследник сходит с ума. От злости он готов уничтожить всю русскую армию. — Старик вытащил изящную, с картинкой на крышке, французскую табакерку. — Не угодно ли, мой друг, отменное средство против простуды? — (Молодой отказался.) Старик с наслаждением зарядил обе ноздри табаком. — Пока матушка Елизавета здравствует — это не страшно, — продолжал он, прочистив нос, — но... все люди смертны... Император Петр Третий сумеет отомстить русским полководцам за победы над королем Фридрихом. — Старик со злостью стукнул тростью по санкам Корнилова. — А понеже фельдмаршал граф Салтыков сие прекрасно знает, он не преминет подумать о будущем...

Корнилова взволновали речи незнакомца. Он слушал, боясь пошевелиться, боясь проронить слово.

— Неужто, ваше сиятельство? — воскликнул молодой. — Но ведь в прошлом году фельдмаршал одержал блестящую победу под Кунерсдорфом!

— О, слава всевышнему, мой друг, наши храбрые офицеры и солдаты не занимаются высокой придворной политикой, и когда встретят врага, то бьют его со всем старанием... Бедная армия! Когда я вижу солдат, у меня разрывается сердце... Мне тяжело говорить об этом, мой друг, — старик понизил голос, — но наши солдаты побеждают врага, несмотря на предательство и измену, гнездящиеся во дворце.

— Я слышал, ваше сиятельство, но это так чудовищно! — ворковал молодой голос. — Я не давал веры...

— Через час решения военной конференции, — не слушая, продолжал старик, — известны английскому посланнику, мой друг, а засим и прусскому королю. Сей хитрый англичанин сумел... — Старик нагнулся и что-то зашептал спутнику на ухо.

— Это невероятно, ваше сиятельство, я отказываюсь верить... наследник русского престола...

— Тсс, опомнитесь, сударь, — зашептал старик, бросая вокруг себя быстрые взгляды, — можно ли быть таким неосторожным!.. — Он закашлялся, помолчал, тяжело вздохнул. — Вот еще один славный полк ушел на поле брани. Дай бог хорошего здоровья нашей государыне.

Проводив глазами удалявшееся воинство, собеседники вошли в табачную лавку.

Тронулся в путь и Амос Кондратьевич. Он долго не мог прийти в себя от страшных слов старого графа.

«Неужто правда? — в смятении спрашивал он себя. — Нет, не верю, не может быть...»

У Зимнего дворца санки спустились к Неве. Переправу указывали шесты с пучками хвойных веток, воткнутые в лед. Не доезжая Васильевского острова, Корнилов остановил лошадей; у берега, вмерзнув в лед, рядами стояли громоздкие суда. Мореходу показалось, что он видит знакомые очертания большого корабля. Амос Кондратьевич подошел ближе. Высокая корма тяжелого седловатого судна горой нависла над ним. Снаружи корму обнимали вычурно изукрашенные галереи, а над ними возвышались, три огромных фонаря. Массивные, далеко выдавшиеся вперед щеки были украшены статуями. Вдруг Корнилов обрадовано вскрикнул, словно неожиданно встретил земляка: на корме блеснул полустертой позолотой знак судостроительной верфи.

— Петровский корабль, в Архангельске строен! — громко, с гордостью произнес Амос Кондратьевич. — Наши поморские руки ладили. — Он подошел к самому борту заснувшего гиганта и, словно живого, ласково похлопал его по холодным доскам.

— Эй, земляк, проходи, что копаешься тут! Вот ужю слезу да накостыляю по шее, — услышал мореход откуда-то сверху грозный голос.

«Охраняют корабль, молодцы», — не обидясь на угрозу, подумал Амос Кондратьевич, отходя в сторону.

— Недаром царь Петр уставы писал. Молодцы! — повторял он, влезая в санки.

Вечерело. Застучали в чугунные доски сторожа У богатых домов; в притихшем городе отчетливо раздавался лай перекликавшихся сторожевых псов. Где-то далеко на Выборгской стороне били в набат, виднелось большое зарево пожара. Санки Корнилова под яростный вой цепных псов въехали в просторный двор архангелогородца, теперь питерского купца Петра Семеновича Савельева — старинного дружка. Савельев жил в большом деревянном доме, построенном по-поморски — крепко и надежно. Скромный, неказистый с виду бородач ворочал большими тысячами и деловые связи в столичном городе имел обширные.

Прятели обнялись и расцеловались. После парной баньки с квасом и березовым веником Корнилова усадили за стол. Приветствовать редкого гостя выплыла из своих покоев дородная Лукерья Саввишна, супруга Савельева. Не утерпела Лукерья Саввишна, не однажды вступала она в разговор, выпытывая о своей родне. Хозяин сердито кряхтел и хмурил мохнатые брови.

— Пошла бы ты, Лукерья, на свою половину, — не выдержал наконец он, — у нас тут дела с гостюшкой. Мешаешь ты нам.

Лукерья Саввишна, недовольно поджавши губы, вышла из горницы, крутя подолом длинной обористой юбки.

Друзья остались одни. Дело пошло по-другому. Положив локти на стол, придвинувшись друг к другу вплотную, борода к бороде, купцы заговорили откровеннее.

— Ну и времена пошли, — косясь на дверь, понизил голос Савельев. — Вовсе заморские купцы одолели, везде дорогу перебивают, везде свой нос суют. При дворце им подмога большая, — доверительно сообщал Петр Семенович, — а наш брат не сунься — все равно не прав будешь. На своем ежели стоять — разор, затаскают по судам... Указов много на пользу русскому купечеству матушка царица написала... а на деле не так выходит. Иноземцы в обход идут, в русское купечество пишутся, а капиталы свои за море отправляют.

Корнилов не выдержал:

— Правильно говоришь, в торговых делах русскому человеку ходу нет. А ты посмотри, что в Поморье творится. Купчишка английский, Бак, мошенник и плут, да Вернизобер, шуваловский приказчик, всем делом крутят. Таким людям одна дорога — на каторгу, а они по столицам катают.

В ответ на слова Корнилова Петр Семенович вздыхал, соболезнующе покачивал головой.

— Жалобу привез. Матушке императрице писана. Может, и выйдет что? — и Корнилов вопросительно посмотрел на своего приятеля.

Савельев осторожно зацепил ложечкой мороженой ягоды в сахаре, медленно положил в рот, запил чаем и только тогда ответил:

— Что ж, попытаться можно, попытка не пытка. Да толк будет ли? Война, брат! Четвертый год воюем, и все конца не видно. Государыне по слабости здоровья для других дел времени вовсе не стало. — Савельев замолчал раздумывая. — Стонут мужики, что ни год, то хуже простому сословию на Руси жить. Невдосыт едят, в других местах и хлеба не видят: кору да мякину жрут. Все кому не лень шкуру с мужика норовят содрать. Помещики людей, аки скот, продают, императрица позволение, слышь, тому дала. Плетьми до смерти секут, в Сибирь самовольно засылают... тьфу! А тут война, новые поборы в казну тянут. А нам, Амос Кондратьевич, кто по старой вере живет, и вовсе конец пришел. Бывает, за крест да за бороду всем животом не откупишься.

— Оттого в народе смущение и соблазн. В наших лесах многие спасаются, — вставил Амос Кондратьевич. — Бунтуют мужики, бывает, и монастыри жгут.

— А во дворце что деется, — шепнул Савельев дружку, — послушать ежели по базарам да ярмаркам — уши вянут, всего наслушаешься... Гудет народ, будто господа сенаторы немцу продались. И сам будто престолонаследник, Петр Федорович, прусских кровей...

Савельев, встретив понимающий взгляд Корнилова, замолчал.

«Значит, правда», — болью отозвалось в сердце Амоса. Теперь он все больше и больше боялся за успех своего дела.

— А касемо жалобы, — перешел на другое купец, — Ломоносова Михаилу Васильевича проси; захочет ежели, прямо в царские ручки жалобу передаст... Да в Питере ли он — слых был, не то в Псков, не то в Новгород уехал. Подожди, подожди, Амос Кондратьевич, — вспомнил Савельев, — друг у меня есть. Василий Помазкин, в истопниках у самого наследника престола. Наш помор, на фрегате боцманом был. Так вот, ежели его к делу пристегнуть, а? Как думаешь? Пусть Петра Федоровича слезно просит челобитную принять и

передать императрице. Петру-то Федоровичу до государыни Елизаветы недалече, в одном доме живут. Ты не думай, — посмотрел в лицо друга Савельев, — что, дескать, истопник птичка-невеличка. И комар, говорят, лошадь свалит, коли волк поможет.

— Что ж, я не против, то верно, в другом разе истопник больше графа стоит, — ответил Корнилов. Дружки посидели молча, думая каждый о своем.

— Прядунов, купец наш архангельский, слышал ведь, — снова заговорил Савельев, — в тюрьму посажен.

А за что? Каменное масло нашел и в Питер представил. Царь Петр за такие дела возвеличивал, а тут...

Слова хозяина прервали захрипевшие часы. В тишине прозвучало семь ударов. Почти тотчас же стали отбивать время на церковной колоколенке.

Глава девятая

ТАВЕРНА «ЗОЛОТОЙ ЛЕВ»

Пронизывающий морской ветер нес хлопья мокрого липкого снега. Неуютно чувствовал себя Вильямс Бак, пробиравшийся по набережной Невы на Васильевском острове. Он поворачивался спиной к ветру, спасаясь от свирепых порывов, кутался в воротник и глубже натягивал цеховую шапку. Спотыкаясь о неровности дороги, незаметные в темноте, он зло ругался и бормотал нелестные отзывы о порядках в русской столице.

Прохожие встречались редко. Они издали обходили друг друга. И не напрасно: уличные грабежи были здесь не редкостью.

Купец с опаской оглянулся по сторонам. На реке чернели, словно тени, высокие корпуса военных кораблей с убраным на зиму рангоутом. На палубах морских гигантов изредка перекликалась стража, мелькал в темноте слабый свет фонаря. Невысокие деревянные домишки прижимались к набережной. Дальше, в глубь острова, тянулись болотистые места, поросшие лесом и кустарником. У одинокого масляного фонаря, тускло горевшего на углу, приютилась караульная будка. Из будки угрожающе торчала рыцарская алебарда, а сам будочник, опасаясь лихих людей, не высовывал носа.

«Жди помощи от таких сторожей, — с яростью подумал Вильямс Бак, — клещами его, мерзавца, из будки не вытащишь... И зачем нужны такие предосторожности: оставить лошадей на постоялом дворе и в темноте пешком тащиться в проклятую таверну, о которой я никогда не слышал. Пожалуй, мне лучше держаться берега реки — безопаснее», — решил купец и перешел улицу.

На пути попадались портовые харчевни: они манили путника ярко освещенными окнами. Но, посмотрев на вывеску, он шел дальше, недовольно бурча себе под нос. Вскоре Вильямс Бак миновал небольшую деревянную церковку и несколько домиков за невысокими заборами. Опять встретилась харчевня с решетчатыми освещенными окнами.

— «Золотой лев», наконец-то, — обрадовался купец, прочитав название таверны.

Не доверяя грамотности своих посетителей, хозяин повесил над дверью деревянного льва, в ярости раскрывшего пасть. Зверь держал в лапах большой фонарь, со скрипом качавшийся на ветру. На больших железных листах, прибитых к стенам, было намалевано много

заманчивых вещей. Тут были пивные бочки, бутылки с ромом, бутылки с французской и голландской водкой, дымящиеся перекрещенные трубки и, наконец, добрый кусок жареного мяса на вертеле. Надписи на разных языках обещали отдых и развлечения, питье и пищу за очень недорогую цену.

Поднявшись по двум каменным обшарканным ступенькам, Вильямс Бак открыл дверь. Звякнул колокольчик. Пахнуло дымом скверного табака, запахом дешевой снеди. Утопая в клубах табачного дыма, за пивом сидели разного звания иностранцы. Небольшой приземистый зал шумел разноголосой чужеземной речью. В большом камине, потрескивая, ярко горели корявые сосновые пни. Несколько человек, в молчании уставившись на огонь, с наслаждением грели ноги на решетке очага.

Путник осмотрелся, присесть как будто было негде — кабак был полон. Грянула музыка. Две-три девицы в ярких платьях, наруганные и набеленные, закружились в танце с пьяными посетителями.

— Господин Вильяме Бак? Прошу вас, — вкрадчиво произнес кто-то по-английски.

Купец обернулся. Перед ним стоял толстенький румяный человечек и почтительно кланялся.

— Вы хозяин? — спросил Бак, скрывая свою растерянность.

— Прошу вас, пройдите со мной. — Толстяк еще раз поклонился. — Я покажу удобное место. Там вы спокойно отдохнете. Вам пришлось совершить трудное путешествие. Путь из Архангельска далек. Прошу вас...

Вильямс Бак понял: хозяин таверны предупрежден о его приезде. Он молча кивнул головой и двинулся за толстяком.

В глубине зала стоял небольшой столик, покрытый чистой скатертью. От любопытных взоров его укрывала большая изразцовая печка в синих цветах. Над столом висел большой портрет высокого статного мужчины во весь рост, с длинной шпагой и в старинном морском плаще, небрежно наброшенном на плечи.

— Кто это? — неожиданно вырвалось у Бака.

— Сэр Генри Морган, — ответил хозяин. — Мой дед служил у него матросом. Вот здесь, господин Бак, вам никто не помешает. Садитесь грейтесь.

Появился кофейник с дымящимся кофе и деревянное блюдо с мягкими сдобными хлебцами. Скинув шубу, сняв теплую меховую шапку, купец уселся, придвинув стул поближе к горячей печке.

Вильямс Бак был человеком средних лет, с добродушным круглым лицом. В пышном парике с рыжими буклями он выглядел предприимчивым добропорядочным дельцом среднего пошиба. Наслаждаясь теплом, купец не забывал поглядывать на бронзовые часы, украшавшие стойку.

— Осталось десять минут, — отметил Вильямс Бак, прихлебывая горячий кофе. Взгляд его снова упал на портрет «Сэр Генри Морган, — подумал он, — глава английских пиратов в вест-индских водах, удостоился высокой чести за грабежи и разбои. — Причмокнув, Вильямс Бак покачал головой. — Другие времена. А мне стоило только протянуть руку к проклятому вест-индскому сахару, и я едва не угодил на виселицу...»

Кукушка на затейливых часах прокуковала восемь раз. В дверях появился высокий человек в плаще и широкополой, надвинутой на глаза шляпе. Он оглянулся и зашагал по залу, направляясь к столу у изразцовой печки.

— Вильямс Бак, надеюсь, — негромко сказал незнакомец, остановившись возле купца. — Год назад я встречал вас в Лондоне, в нашей конторе.

— Ваш покорный слуга, мистер Бенджамин Вольф — Бак выпрыгнул из-за стола, второпях опрокинув недопитый кофе. — Рад вас видеть, сэр. Как здоровье вашего уважаемого папаша, сэр? — неожиданно для себя выпалил купец. Он не на шутку был встревожен приездом гостя.

— Проклятая погода, дорогой Бак, — вместо приветствия пробурчал наследник торгового дома «Вольф и сыновья», отряхивая шляпу.

— О, вы еще не знаете настоящего русского мороза, сэр. В Архангельске нередки случаи, когда на лету мерзнут птицы.

— Изумительно, дорогой Бак. — Банкир бросил на руки подоспевшему толстяку шляпу и плащ, оставаясь в отличнейшем сером кафтане, обшитом серебряной тесьмой. — Я говорю, изумительно то, что вы сказали относительно птиц, — повторил он, вынимая трубку.

«Он так похож на отца, — удивился купец, глядя, как Бенджамин Вольф раскуривает трубку, — будто старый джентльмен выплюнул его изо рта». Бак не смог удержать улыбки.

— Итак, дорогой Бак, — пуская клубы дыма, начал Бенджамин Вольф, — я думаю, вы понимаете: только очень важные дела могли заставить меня покинуть Лондон, — он искоса взглянул на купца, — чтобы увидеться с вами.

— Я уверен в этом, сэр, — терзаемый недобрыми предчувствиями, пролепетал Бак, — я польщен, сэр.

— Ваши торговые операции, дорогой Бак, — продолжал банкир после небольшой паузы, — заслуживают похвалы... это так. Но времена изменились, и требования торгового дома неизмеримо выросли; наши победы над Францией открыли большие возможности для морской торговли, значение вест-индских колоний для Англии трудно переоценить. Короче говоря, необходимо быстро увеличить численность флота... — Бенджамин Вольф вынул из кармана маленькую записную книжку в переплете из свиной кожи и, замолчав, стал перелистывать страницы.

Вильяме Бак слушал, слегка приоткрыв рот. Боясь проронить слово, он прислонил пухлую ладонь к левому уху, на которое был изрядно туговат.

— Корабли необходимы, как воздух, и немедленно, — подняв глаза, снова начал банкир. — Для этого нужен корабельный лес, много леса, по крайней мере пятьдесят судов в год с полным грузом сосны, ели, лиственницы...

— Вы шутите! Столько леса! Это невозможно, сэр! — привскочил Бак. — Я не найду лесорубов, я писал вам... я... я...

— Мы получили ваше последнее письмо, — грубо оборвал купца банкир. — Причина, о которой вы говорите, вполне устранима. вспомните, два года назад вы писали об ограблении русских промышленников неизвестными кораблями. Ограбление и потопление промысловых судов.

— Да, в Архангельске ходило много разговоров... Русские промышленники собирались принять меры...

— Однако это помогло вам найти лесорубов. Видимо, русские мужики решили, что в лесу работать безопаснее. Правда, на наше счастье, жадность графа Шувалова разорила многих купцов, занимавшихся промыслом морского зверя. А теперь... — Бенджамин Вольф

задумался. Несколько минут он сидел, покачивая ногой и дымя трубкой. — Дело, о котором я намерен вам сообщить, весьма конфиденциально. — Банкир оглянулся и понизил голос; — Вы понимаете, дорогой Бак, неосторожное слово и...

Для Вильямса Бака нетрудно было представить, что таится за этим «и»: тайная канцелярия, пытка на дыбе, рваные ноздри, разорение, Сибирь... Торговому дому «Вольф и сыновья» известны его темные дела в России.

— Я, кажется, никогда не нарушал...

— Мы знаем это, дорогой Бак, я решил предупредить вас на всякий случай...

— Банкир запнулся. — Не будет ли разумным с нашей стороны продолжить подобные опыты? Ведь, в конце концов, мы с вами не возьмем в руки топора, не так ли?.. Следовательно, морской промысел на Севере должен стать еще более опасным, совсем опасным... невозможным, и тогда... понимаете меня, дорогой Бак? Стоит пустить ко дну еще два-три, может быть, десять судов, и это надолго отобьет охоту плавать у русских мужиков.

— Не угодно ли горячего кофе, господа? — услышали собеседники вкрадчивый голос.

С недовольным видом взглянув на толстяка хозяина, появившегося с большим серебряным кофейником в руках, Бенджамин Вольф кивнул головой. Толстяк, наполнив чашки ароматным напитком, удалился.

— Из ваших писем мы узнали, что моржей на Новой Земле осталось немного. Естественно, обремененный шуваловскими поборами, промысел там невыгоден. Вы писали нам, дорогой Бак, что русские мужики последние годы усиленно посещают Шпицберген, где моржовые стада пока неисчерпаемы. Не так ли?

— Все это так, сэр. — Вильяме Бак догадывался, к чему клонит банкир. — Русские охотнее промышляют на Груманте. Но я сомневаюсь...

— Не будет ли разумным в таком случае, дорогой Бак, отвадить их от этого острова? Я думаю... гм... следует потопить несколько промысловых кораблей где-нибудь поблизости от Шпицбергена, и тогда русские мужики попадут в тиски: с одной стороны, разорительная монополия графа Шувалова, а с другой — вы, дорогой Бак. Вам не следует забывать: корабельный лес необходим для Англии, — посмотрев внимательно на купца, добавил Бенджамин Вольф. — Я уверен, королевское правительство оценит ваш патриотизм и сможет забыть некоторые досадные стороны вашей деятельности на родине. Надеюсь, вы согласны? А впрочем, это неважно, согласны вы или нет, — отрезал банкир, увидев на лице Бака колебание, — так или иначе, все это вы возьмете на себя.

Вильямс Бак в крайнем замешательстве вытер пот со лба.

— Позволю себе заметить, сэр, — робко вставил он, — местное купечество относится к нам недоброжелательно. В Петербург на высочайшее имя написана жалоба...

Банкир усмехнулся.

— Жалоба. Да кто сейчас в Петербурге будет разбираться в делах, происходящих на Севере! Императрица Елизавета доживает последние дни. Сановники заняты вопросами престолонаследия. Мы постараемся создать мнение при дворе, что русским мужикам опасно заниматься мореплаванием. — И, не давая Баку вымолвить слово, банкир продолжал: — С открытием навигации в Архангельске к вам явится шкипер купеческого судна с письмом от торгового дома «Вольф и сыновья». С подателем письма вы можете вести переговоры, он поможет вам найти лесорубов.

Банкир поднялся и небрежно подал руку Баку.

— Желаю удачи.

Юркий краснощекий трактирщик был уже тут как тут и помогал знатному гостю одеваться.

Стараясь избежать любопытных глаз, торопливо проскользнул Бенджамин Вольф через шумный зал. Звякнул колокольчик — за банкиром захлопнулась дверь.

Задумавшись, Вильямс Бак долго сидел в таверне. Он не слышал, как буйствовал свирепый ветер, завывая в трубах, шевеля отставшей на крыше доской, хлопая где-то совсем рядом открытой ставней.

Глава десятая

У ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

Вонючий дым солдатского табака ест глаза. Петр Федорович в куцем мундире голштинского офицера, попыхивая любимой глиняной трубкой, вышагивает взад и вперед по тесноватому, устланному коврами кабинету. Поворачиваясь, он каждый раз резко звякает шпорами.

Непринужденно развалиясь в удобном кресле, сидит розовощекий Роберт Кейт, английский посланник; он в задумчивости дымит душистой сигарой, изредка взглядывая на щуплую фигурку наследника.

Веселые огоньки камина тускло отсвечивают на лакированной мебели, на эфесе шпаги князя, вспыхивают в доспехах медного тевтонского рыцаря, застывшего у дверей на бессменной вахте. Для великого князя Петра-Ульриха из Голштинии рыцарское чучело олицетворяло воинственное высокопочитаемое пруссачество. Наследник российского престола, будущий император, презирал все русское. Даже восковые и деревянные солдатики на большом длинном столе, которыми великий князь неизменно «одерживал победы» над датскими полководцами, были в прусских цветистых мундирах.

С заседания военной конференции Петр Федорович вернулся огорченный, расстроенный. И не даром: над головой короля Фридриха, кумира недалекого князя, собрались грозные тучи. Русская императрица посылает новые полки на прусскую землю, русские фельдмаршалы готовят коварные планы...

«Очень кстати, — раздумывал князь, — пришел этот напыщенный болван Кейт. Он всегда начинен новостями, как шоколадная бонбоньерка сюрпризами».

И сегодня Кейт обрадовал князя весточкой о большом друге Фридрихе. Развеселившись, Петр Федорович много и, как казалось ему, остроумно высмеивал генералов, выступавших на военном совете.

Хитрый англичанин, умевший ловить рыбку в мутной воде, был отменно доволен. Теперь он ждал удобного случая распрощаться с князем.

— Ваше высочество, анекдоты о сегодняшнем совещании были особенно остроумны, и я уверен: слова ваши окажутся пророческими, — посланник зашевелился, собираясь встать.

Уткнувшись в угол, великий князь звякнул шпорами и, круто повернувшись, зашагал прямо на Роберта Кейта.

«А князь и вправду придурковат», — удивлялся Кейт, глядя на покрасневшее от напряжения и выпитой водки маленькое злое лицо князя.

Наследник наступал, четко отбивая шаг и грозно выпучив глаза. У самого кресла, где сидел Кейт, Петр Федорович, стукнув каблуками, застыл в неподвижной позе.

— Да здравствует мой друг великий Фридрих! — вдруг тонким голосом крикнул наследник.

Подгибая длинные журавлиные ноги, с охапкой березовых поленьев вошел слуга Василий Помазкин и бесшумно свалил их у камина.

Старик хитрил: не охапка дров привела его сегодня в кабинет наследника. Вчера он виделся с дорогими земляками — Петром Савельевым и Амосом Корниловым, прочитал поморскую жалобу и долго расспрашивал морехода о тамошних делах. Вспомнив молодость, родные далекие края, Студеное бескрайнее море, Василий Помазкин всплакнул и твердо решил помочь землякам.

— Василий, жарко, отставить, — повернув голову в сторону лакея, отрывисто сказал князь, — зачем здесь... не звал.

Василий Помазкин, закинув голову, вытянулся.

— Батюшка Петр Федорович, дозвожь старику слово молвить. — Он с мольбой глядел на князя.

— Что? Говори, говори, — проскрипел наследник, вытаращив глаза. — Что, а?

Наследник не сердился, он по-своему любил преданного слугу Василия Помазкина. Злое лицо князя сделалось будто проще, добрее.

Вынув из-за пазухи плотный белый пакет, бывший гвардеец рухнул на мягкий бухарский ковер.

— Милостивец, родимец наш, возьми. — Старик стукнул об пол головой. — Жалоба матушке императрице.

— Обидели тебя? Кто? — Петр сделал свирепое лицо.

— Ежели б меня, батюшка, — не вставая с колен, ответил Помазкин, — и просить бы не стал. Поморян, мореходов наших, злодеи извести умыслили. Корабельщину без разума рубят, в заморье отправляют, а без леса-то, сам знаешь, батюшка, ни кораблей, ни мореходов... Престолу поруха.

Английский посланник, с невозмутимым видом разглядывавший восковых солдат, расставленных на подступах к игрушечным крепостям, при этих словах насторожился.

— Кто смеет?! — сорвался на визг наследник. — Встань, Василий! — Он, нагнувшись, схватил старика за ворот. — Передам, сегодня передам... Как смеют? — Он вырвал пакет из рук Помазкина и бросил на стол.

Василий поднялся и со слезами благодарности кинулся целовать руки наследнику.

— Петр Федорович, да за это, за такую твою милость мы... — голос старика дрогнул, — я, то есть, жизнь... — Глаза помора затуманились. — Только скажи, все сделаем.

Великого князя тронули искренние, идущие от души слова преданного слуги.

— Сегодня передам, — твердо повторил он. — Сам просить тетушку стану.

Старик снова растянулся на ковре.

— Довольно, уйди, — махнул рукой наследник, — занят!

Помазкин, утирая слезы, пятясь, вышел из комнаты, плотно прикрыв дверь.

Воцарилось молчание. Посланник холеными ногтями отбивал дробь на полированном столе. В камине весело потрескивали сухие дрова. Громко тикали громоздкие бронзовые часы. Наследник усиленно пыхтел глиняной трубкой.

— Беспорядки, беспорядки, — неожиданно громко заговорил он, — везде беспорядки... большое государство... трудно женщине.

— Ваше высочество, — поднялся посланник, взглянув на часы, — мне пора. Но перед уходом я должен выполнить приятное поручение. — Он поклонился. — Ваше высочество, миссис Кейт скоро уезжает на родину и решила на память преподнести вашей светлейшей супруге этот маленький сувенир. — Англичанин вынул из кармана атласную коробочку и открыл ее.

Великий князь с любопытством взглянул на большую бриллиантовую брошь.

— Какие камни! Прелесть! Передайте глубочайшую благодарность миссис Кейт. Но чем я отблагодарю? Я, право, затрудняюсь...

— Не затрудняйтесь, ваше высочество. У меня к вам будет только одна просьба.

Наследник поднял жиденькие брови. Его небольшая головка дернулась.

— О, не беспокойтесь, ваше высочество, просьба самая маленькая, — поспешил успокоить великого князя посланник. Он помолчал. — Подарите мне это, ваше высочество. — Кейт взял в руки поморскую жалобу.

Брови наследника еще больше поднялись. Да и как не удивляться чудаковатому англичанину!

— Этот конверт... О дорогой сэра, но это ничтожно! — воскликнул он. — Если хотите, прошу вас! — Великий князь склонил голову. — Однако меня мучает любопытство, зачем вам этот конверт?

— Благодарю вас, ваше высочество, вы так великодушны... Итак, я считаю конверт своей собственностью. — Посланник взглянул на великого князя.

— Да-да, дорогой сэра!

Взяв со стола пакет, англичанин шагнул к камину и бросил его в огонь.

— Я хотел избавить вас от лишнего беспокойства, ваше высочество. — Любезно раскланявшись, англичанин вышел. * * *

На другой день в дом к Петру Савельеву пришел старик Помазкин. Красная с золотым позументом ливрея была изрядно выпачкана грязью. Он был пьян, но на ногах держался крепко и рассуждал здраво.

— Амос Кондратьевич, друг милый! Прости ты старого дурака. Не вышло дело... Прошибся я, тем людям веру дал. Вот оно и получилось... с того и пьян седни.

— Да что получилось-то? — допытывался встревоженный Корнилов.

— А так, — отмахивался старик, — вдругорядь жалобу писать надо. На тот год привезешь,

дак я без ошибки, в собственные руки... А теперь ехал бы ты домой, друг, — опустишь зимнюю дорожку, намаешься.

Тем и кончился разговор. Ничего не добившись, уехал в Архангельск Амос Кондратьевич. А Василий Помазкин даже старому своему другу Петру Савельеву не открыл, куда делась поморская жалоба. Сам-то Помазкин хорошо про то знал. Выгребая золу из камина в кабинете наследника, он нашел там обгоревшие остатки гербовой бумаги.

Глава одиннадцатая

В ЗАПАДНЕ

Очнулась Наталья в теплой избе, на мягкой постели. Около нее хлопотали две молоденькие девушки с завидным румянцем на щеках. Они радостно вскрикнули, увидев, что Наталья открыла глаза.

Подошла полная пожилая женщина с приятным спокойным лицом. Она подала Наталье кружку с какой-то темной жидкостью.

— Пей, родная, — певуче сказала женщина, — на божьей травке настоено, сил вдвое прибудет. О матери не тревожься, жива — здорова она.

— Спасибо, — ответила Наталья. Она осушила кружку с горьковатым напитком. Помолчав, спросила: — Что за люди спасли нас?

— Муж мой и сыновья, — с гордостью сказала женщина. — Услышали, кто-то кричит в лесу, и поспешили. А это дочки мои, — показала она на девушек.

Сестры-близнецы Дуняша, Дарья и Луша — девки краше одна другой. Круглолицые, пышнотелые, с толстыми русыми косами, ростом невелички — в мать, они, словно колобки, катались по горнице.

Любопытные не в меру девушки засыпали Наталью вопросами: как живут в городе, богато ли, весело ли, много ли женихов да часты ли свадьбы?

— Есть ли у тебя, Натальюшка, жених? — помолчав, спросила бойкая смешливая Луша.

— Есть, девоньки, Иваном зовут, — ответила, зардевшись, девушка, — и свадьба летом.

— Счастливая ты... у нас в лесу не сыщешь женихов-то, кроме волков да медведей, — с сожалением промолвила Даша, накручивая кончик косы на палец.

— Осьмнадцатый годок на свете живем, а путного ничего не видели, — вторила ей Дуня, лукаво поглядывая на сестер. — А скажи, Натальюшка, — спросила она, вздохнув, скромно опустив глаза, — правду люди говорят, нет лучше игры, как с милым в переглядушки?

— Одно, девушки, скажу, — вспыхнув, смутилась Наталья, — без солнышка нельзя пробыть и без милого нельзя прожить... За милого я на себя поступлюсь, не пожалею...

— Прошлым летом, — тараторила Луша, — к нам охотник в избу заходил. Мужик молодой и лицом приглядист, я как увидела, так, поверишь, голова вокруг пошла... И посеичас не спится, не ложится, все про милого грустится.

— Цыц, бесстыдницы! — прикрикнула мать. — Только и дела им, что о женихах толковать.

— Взамуж-то охота, матушка, — задорно отвечала Луша, — пущай нам папаня вскорости женихов приведет...

— Вот ужo скажу отцу. Он поохладит вожжой-то, — нахмурилась мать, — ишь кака царевна, подай жениха. Девушки замолкли, присмирели.

— А спасители наши где? — вспомнила Наталья.

— У домницы, девонька, руду плавят. Да ты погоди, не спеши, — добавила хозяйка, видя, что Наталья хочет встать, — отдохни, покушай.

Но Наталье не терпелось. Одевшись, она вместе с девушками выбежала на улицу. Большая серая собака бросилась к Наталье.

— Волк! — закричала девушка, прячась за спины хозяйских дочерей.

— Что ты, Наташенька, не бойся, это наш Разбой. Он тоже тебя спасал, волка загрыз.

Наталья вспомнила, как было, робко протянула руку и погладила пса.

— Разбой, Разбойничек мой, — приговаривала девушка, лаская собаку.

Помахивая дружелюбно хвостом, пес лизнул ей руку.

— Полюбил тебя Разбой, — удивилась Евдокия, — злой он у нас. Чужих не жалует. Ну, пойдете, девушки, к домницам. Видишь, Наташа, сарай у речки? Там отец...

Панфил Рогозин, приписной крестьянин Лонгозерского медноплавильного завода, был родом с Кижинского погоста. Много тягот лежало на плечах приписных крестьян, и жизнь их сделалась вконец невыносимой.

Особенно тяжело доставался мужикам уголь. Они заготавливали в лесу большие поленья, выкладывали высокие дровяные холмы, засыпали их землей, обкладывали дерном и томили дерево, медленно сжигая его на малом огне.

Готовый уголь надо везти на завод. Трудно управиться мужику на своей лошаденке, когда до завода добрая сотня верст.

Но и это не все: приписные крестьяне платили подушную подать деньгами, как и все крестьянство на Руси. Тут-то и начинался порочный круг: чтобы добыть деньги для подушной подати, Панфилу Рогозину приходилось уходить на заработки в Питер, а для рубки дров и перевозки угля он нанимал работника. Наемному человеку Рогозин платил в несколько раз больше, чем он сам получал от завода. Неродимая северная земля плохо кормила мужиков; того, что зарабатывала семья, едва хватало на пропитание.

Не освобождались приписные крестьяне и от других многочисленных повинностей наравне с остальными крестьянами северных областей.

Когда пришел конец терпению, Панфил Рогозин бросил дом и вместе с семьей тайком ушел из деревни. Он забрался в самую глушь карельской тайги и занялся железным промыслом. Вместе с сыновьями Панфил искал по лесам болотную руду, плавил ее в печах — домни-цах, обрабатывал особым способом и получал прекрасную сталь, называемую на Севере укладом.

Из этой стали Панфил выделывал серпы, косы, ножи, топоры и другие предметы, необходимые для крестьянского хозяйства.

Вот уже пять лет живет в лесу Панфил Рогозин, скрываясь от людей, как дикий зверь. Не один Панфил, многие заводские крестьяне убегали в леса, спасаясь от голодной смерти. Некоторые в поте лица своего трудились, укрытые непроходимыми лесами и болотами, другие, сбившись в шайки, добывали хлеб грабежом.

Летом Рогозины искали болотную руду, а зимой по первопутку подвозили ее к домницам. Зимой же плавил крицы и готовили из железа уклад.

Панфил Данилыч, высокий, суровый, заросший волосом мужик, трудился в небольшом бревенчатом сарайчике. В земляной пол крепко вросли две коренастые печи — домницы, сложенные из дикого камня. В одной из них плавилась руда. Младший сын Панфила Рогозина, Потап, краснощекий, белобрысый парень, нажимая на ручки мехов из тюленьей кожи, нагонял в домницу воздух. Направо от дверей стояли горн, две наковальни. Тут же валялись тяжелые молоты и несколько больших и малых клещей.

— Подмени, отец, — тяжело дыша, позвал Потап; он мотнул головой, стряхивая пот, — не вмоготу, глаза слепит.

Панфил Рогозин, наблюдавший плавку, молча перенял из рук сына мехи.

Старший, Егор, голубоглазый великан с добродушным лицом, загружал вторую печь рудой и березовым углем. А средний сын, Дмитрий, пошел в мать: был невысок ростом. Он готовил глиняную трубку для нагона в домницу воздуха.

Делать воздуходувную трубку надо умеючи. Она не только нагоняет в домницу воздух, но и служит мериллом готовности плавки: когда трубка прогорает до конца, мастера гасят огонь.

Дмитрий лепил глину на деревянный, гладко обструганный стержень. На первый пласт он наложил тонкие лучинки и накрыл вторым слоем глины.

— Не тонку ли слепил, Митрий? — беспокоился Панфил Данилыч.

— Четыре пальца, отец, в самый раз, — бойко отвечал Дмитрий, ловко приминая глину. — А в длину — локоть.

— Моих и трех пальцев хватит, откровенно говоря, — пошутил Егор.

В избе было чадно. Копоть висела на потолке и стенах. От печи шел тяжелый дух, затрудняя дыхание. Не помогали открытая дверь и дыра в крыше.

На улице заскрипел под ногами снег, послышался смех и веселые девичьи голоса.

— Папаня, — в дверях появилась Луша, любимица Панфила Данилыча, — гостью к тебе привели. Входи, Натальюшка!

Девушки осторожно, чтоб не замарать новые шубки, пробрались в сарай и встали у двери.

— Что, певуны, замолчали, ась? — ласково спросил Рогозин, с любовью глядя на дочерей. — Наташа, — посмотрел он на гостью. — Вот ты какая! Молодец девка, матерого волка зарубила.

Сыновья любопытно уставились на красивую незнакомку. Широко открыв глаза, с восхищением глядел на девушку Потап.

Наталья шагнула к Панфилу Рогозину.

— Спасибо, Панфил Данилыч, — она поклонилась в пояс, — спасибо, добрый человек. За

спасенье век за тебя бога молить буду.

Наталья подошла к братьям и каждому поклонилась. Мужики растерялись, а Потап густо покраснел, не зная, куда деваться от смущения.

Рогозину очень понравилась Наталья Лопатина.

— Девка-то, вишь, цены нет, дорога девка... Такую бы невестку мне, ась? — пошутил он, лукаво глянув на Потапа.

Рогозинские дочки захихикали, кокетливо прикрыв ладошкой рот.

— Очухался ямщик-то? — видя замешательство Наташи, перевел разговор на другое хозяин.
— Волки жеребца загрызли, так он сам волком выл, совсем ополоумел. Идите домой, девоньки, — неожиданно строго закончил он. — Управимся вот, тогда потолкуем. Руду плавить — не блины печь.

Три дня прожили Лопатины у гостеприимных хозяев. Аграфена Петровна с перепугу не сразу решилась отправиться в путь. Да и погодка держала: шел снег, гуляла метелица.

Панфил Данилыч предложил впрячь в санки свою пегую лошаденку вместо растерзанного волками жеребца. Уступив слезным мольбам старухи Лопатиной, он отпустил своих сыновей проводить ее до скита.

— В обрат поедешь, Петряй, отдашь лошадь, — сказал Панфил Данилыч на прощание. — Сам-то помаленьку да полегоньку и на одной доберешься.

Провожаемые добрыми напутствиями, в погожий солнечный день Лопатины выехали в скит. Братья с пищалями за плечами легко скользили на лыжах за санями.

Когда на виду показалась деревянная колоколенка, Рогозины попрощались и повернули обратно. * * *

— Мамынька, вставайте, полно вам спать, — тормошила Аграфену Петровну Наташа — Скит-то, вот он!

— Ну, слава те господи, приехали, — очнувшись, выглянула из пуховых платков Лопатина. — Петруха, скажи сторожу: к старцу нарядчику сестрица, мол, из города.

На стук в разных концах скита залаяли собаки. За воротами кто-то долго кряхтел и кашлял.

— Кого бог принес? — услышали, наконец, приезжие простуженный старческий голос.

— Отца Аристарха сестрица с дочкой, — ответил Малыгин, — с города Архангельского. Да скорей, старче, замерзли мы, еле живы.

— Поспешу. — Раздались торопливые шаги, под ногами старца заскрипел снег.

Вскоре ворота открылись. Высокий худой старик в теплой шубе и лисьей шапке выбежал к саням.

— Погоняй, милый, погоняй туда, к гостинной избе. — Старик побежал вперед, показывая дорогу.

Как только сани остановились, он принялся помогать гостям, закутанным в теплые одежды.

— Дочку вырастила, невеста, — говорил старик, целуя Наташу. — А ведь махонькая была, на коленях у меня сживвала Наташа с удивлением смотрела на резвого не по годам и будто

совсем здорового старика.

Обогрев и накормив гостей, Аристарх собрался уходить.

— На молитву мне время, Груня, — сказал он сестре, — ты отдохни, переведи дух с дороги-то, притомилась небось, а завтра о деле потолкуем.

— Как не притомиться! Дороги-то у вас, спаси господи и помилуй. Однако я в обрат тороплюсь, нет у меня времени по скитам прохладиться Ты бы зашел, братец, опосля молитвы Наталья-то спать будет, вот мы и поговорим на свободе. А завтра дай бог погоду — в путь.

Старик в удивлении раскрыл рот.

— Завтра домой собираешься? Что так? Велики ли дела у тебя по вдовьей-то доле?

— А вот придешь, расскажу, — сердито ответила Аграфена Петровна и выразительно повела глазами на Наташу. — Хоть в полночь приходи — ждать буду.

Когда старец ушел, Аграфена Петровна вытащила из дорожной корзинки заветную бутылочку и небольшой серебряный стаканчик.

— Опять, мамынька, — с досадой сказала Наталья. — В святом месте бы потерпели. Который раз зарекаетесь, а все...

— Не твое дело мать учить! — прикрикнула на нее Аграфена Петровна. — Прытка больно. Ложись да спи.

Продолжая ворчать, старуха налила себе стаканчик, быстро опрокинула в рот и наполнила второй.

— Вот доведется тебе мужа похоронить, на старости одной век доживать, тогда и...

Наталья, не слушая ее, быстро разделась и, укрывшись с головой меховым одеялом, притихла.

Дождаясь братца, Аграфена Петровна еще не раз «причастилась» из пузатой бутылки, и когда Аристарх появился в гостиной избе, Лопатина была навеселе. Увидав сестру, старец с укоризной покачал головой.

— Неладно, сестрица, до греха недалеко...

— Грехи наши, молитвы ваши — замолите, — бойко отозвалась Аграфена Петровна. — А ты будто и не пьешь, братец? Вспомни-ка, родитель покойный не раз тебя вожжами за зелье-то охаживал... На-ко, попробуй наливочки.

— То забыто, сестрица. Все суета сует и волнение духа. Уж сколько годов хмельного не беру, — сухо ответил брат, отстраняя налитый стаканчик. — Ежечасно господа бога нашего слезно молю грехи простить, много грешон в миру, сестрица.

— Молись, молись, братец, а мне зубы не заговаривай. Вор всегда слезлив, плут всегда многомолен. Одними молитвами, скажешь, дом и лавку в городе нажил... Бесстыдный плут... — Старуха, скосоротившись, погрозила кулаком. — Да ты не отрекайся, Марфутка твоя в лавке хозяйничает, сама видела. Все ей по смерти отписать посулился. Нашел ведь чем девку взять... Тьфу, связался с молодухой, а самому седьмой десяток исходит. Широко, брат, шагаешь, смотри штаны не порви...

Слушая сестрицу, Аристарх в замешательстве ерзал по лавке.

— Ну, ну, Груня, разошлась, — примирительно сказал он. — Язык-то у тебя напустит вестей — и царским указом не остановишь... Я так, к слову... по мне, хошь пей, хошь нет — все едино.

— Чует кошка, чье мясо съела. И я к слову, по мне, хоть десять домов имей... Пойдем, братец, в уголок, под иконы, да потолкуем.

Брат и сестра пересели. Посмотрев, спит ли дочка, Лопатина сказала, понизив голос:

— Нагнись поближе, братец, скорбен ты на уши, а дело тайное.

Отец нарядчик придвинулся, изогнул худое тело, наклонил голову.

— Купца Окладникова знаешь?

— Еремей Панфилыча, что ль? Как не знать! Первый купец, благодетель наш.

— Наталью мою сватает... в самом соку человек, и красив и статен, уж чего бы лучше.

— В чем препона?

— Не хочет девка, — шипела старуха. — Слово, дескать, другому дала — Ванюшке Химкову. Ему и штанов-то хороших купить не на что. Все по промыслам мается. Супротив меня Наталья пошла, хотела в Мезень бежать... срам-то. Добрые люди упредили, вовремя спохватилась.

Аристарх открыл рот, стараясь не пропустить слова.

— Тебя вспомнила, думаю, надежное дело в скиту девку спрятать. Еремей Панфилыч в согласии: «Вези, говорит, Наталью. А братцу передай, ежели он порадует — отблагодарю...» Ты как? — Аграфена Петровна буравила хитрыми глазками брата.

— Что ж, отсюда девке уйти некуда. — Аристарх облегченно вздохнул. — Да и мать Таифа у нас редкого благочестия, строга с белицами, ой как строга, не сумлевайся, сестра, убережем.

— Спасибо, Аристархушка, — подобрев, сказала старуха. — Я бы сама осталась, да Еремей Панфилыч дом новый для молодой жены хочет ставить — на мне все заботы, оттого тороплюсь.

— Ну что ж, с богом тогда... — Аристарх зевнул и перекрестил рот. — А когда за невестой ждатель?

— По летнему пути думаю на карбасе, братец. А ежели и год у вас Наталья посидит — ей на пользу. Рукомеслу какому научите, божественному пению, а главное, в страхе божием держите девку, гордыню ей смирите... Пока прими, братец. — Аграфена Петровна, развязав узелок платка, вынула пять золотых червонцев.

— Спасибо, сестрица, — поклонился Аристарх, — все сделаем. Девка молодая что воск: лепи из нее что хочешь. Приедешь не узнаешь — шелковая будет. — Старик опустил глаза и молча стал поглаживать бороду. — Помаленьку, полегоньку... исподволь и ольху согнешь, — добавил он, помолчав, — а вкруте и вяз поломаешь.

На рассвете следующего дня, не попрощавшись с дочерью, Аграфена Петровна выехала в обратный путь.

ТАЙНЫЙ СГОВОР

— Я сдаюсь, господин Бак. Ваш конь решил партию.

Директор конторы сального торго герр Вернизобер, с сожалением кинув последний взгляд на доску, протянул руку к стакану. Отхлебнув глоток и запив крепкий ром апельсиновым соком, он поднялся с кресла.

Это движение Вернизобера вывело из задумчивости хозяина.

— Куда вы, герр Вернизобер? Еще нет и десяти часов! — Бак почтительно усадил гостя на место. — Я вспомнил, герр Вернизобер, вы мне что-то рассказывали о вашей крестнице. Так почему же она не может выйти замуж?

— Ах, господин Бак, — вздохнул Вернизобер, — она полюбила честного, но бедного человека. Родители Елизабет не могут согласиться на такой брак... А она так страдает, бедняжка, ее юное сердце разрывается на части. — Директор закатил глаза к потолку.

В это время Бак внимательно разглядывал своего гостя. Высокий, худой, с маленькой головкой на длинной шее; бритый, с бледными отвислыми щеками; на длинных ногах потрепанные башмаки. На нем, словно на вешалке, висел кафтан табачного цвета с нечистыми кружевными манжетами. Видимо удовлетворенный, хозяин отвел глаза и как бы в глубоком раздумье сказал:

— Ну, а если, герр Вернизобер, жених вашей крестницы получит место в нашей фирме с солидным жалованьем, ну, хотя бы... — Бак помедлил и назвал сумму годового жалованья, о котором и сам Вернизобер мог только мечтать.

— О господин Бак, — воскликнул удивленный директор, — без сомнения, это решило бы дело положительно! Я восхищен вашей щедростью, но как я могу вас отблагодарить?

— Не будем об этом говорить, дорогой герр Вернизобер, — прервал излияния Бак. — Мы, иностранцы, должны поддерживать друг друга в чужой стране. Я с удовольствием делаю эту маленькую радость для вашей Елизабет. Меня интересует один вопрос, герр Вернизобер, — продолжал Бак, наливая себе и гостю ром. — Я слышал, многие русские промышленники направляют в этом году свои суда на Шпицберген. Вы, кажется, добились предварительной регистрации всех судов, уходящих на промыслы. — Хозяин усиленно захрипел трубкой, а потом долго выковыривал пепел. — Хотелось бы знать, сколько русских судов будет промышлять на Шпицбергене и какими путями они пробираются к этой земле... Понимаете, герр Вернизобер, я хочу заняться постройкой хороших крепких судов для местных нужд... Мери, пожалуйста, трубку, — вежливо попросил он, — принесите из столовой. Она лежит на моем кресле. — Очень рад быть полезным вашей коммерции, господин Бак... — Вернизобер вынул записную книжку. — В этом году около двухсот судов выходят из портов Белого моря на Грумант; столько же, по-видимому, будет промышлять на Новой Земле. — Он перевернул несколько страничек. — Несколько лет назад судов выходило значительно меньше — тяжелые льды мешали работе... — Гость спрятал книжку и опорожнил свой стакан. — Что касается пути на Грумант... — Вернизобер, тарабаня пальцами по столу, на минуту задумался. — Я могу, господин Бак, подарить вам карту, сочиненную русским кормщиком Амосом Корниловым. Весьма хорошая карта...

Директор оживился.

— Корнилов исполнил ее с примерным старанием. Там есть все, что вас интересует, господин Бак. Остров Грумант стал истинно русской землей. — И, помолчав, он добавил: — Здешних моряков не страшат льды. Они прекрасные мореходы, эти русские, смею вас уверить...

Вильямс Бак поморщился. Ему показалась неуместной похвала Вернизобера, но все же он вежливо ответил:

— От души благодарю вас, герр Вернизобер. Значит, вы думаете, перспективы для местного кораблестроения благоприятны?

— Да, господин Бак, промышленники жалуются на недостаток судов и корабельного леса. Несомненно, ваше благое начинание поможет развитию местного мореплавания. Если у вас еще в чем-нибудь встретится нужда, господин Бак, я всегда к вашим услугам... — Гость опять поднялся со своего места. — Но все же я решил идти домой. По дороге зайду к крестнице порадовать ее вашим великодушием... Карта будет завтра у вас, ее утром принесет мой Михель.

Вильямс Бак изобразил на лице сожаление.

— Мне жаль потерять такого приятного собеседника, но я понимаю ваши чувства, они весьма похвальны, герр Вернизобер.

Бак проводил гостя до самого крыльца.

— До свиданья, герр Вернизобер! — еще раз вдогонку крикнул гостеприимный хозяин.

Теперь Вильямсу Баку больше не нужно было скрывать свою радость. Потирая руки, он вернулся в дом.

«Такая карта стоит побольше жалованья жениху-бездельнику, — думал купец.

— А старый дурак Вернизобер совсем сошел с ума от восторга».

Большой особняк Вильямса Бака совсем недавно появился в Архангельске. Дом построили быстро, не считаясь с расходами. Комнаты купец обставил дорогой мебелью, купленной в Англии. Богатая драпировка, роскошные ковры, картины — все говорило о достатке хозяина.

Бак прошел в свой кабинет и уселся в глубокое удобное кресло.

Румяная молоденькая горничная внесла серебряный канделябр с двумя зажженными свечами и молча поставила на заваленный бумагами письменный стол. Окна, выходящие на улицу, она задернула тяжелыми бархатными шторами — хозяин не любил любопытных глаз. Расправив угол завернувшегося ковра, горничная вышла.

Но Бак не нашел успокоения в мягком кресле. Поднявшись, он стал прохаживаться по кабинету, толстый ковер заглушал его легкие быстрые шаги.

Сказочно разбогатевший на своих махинациях с корабельным лесом, Вильяме Бак был далек от патриотических чувств, о которых упоминал башкир. Эти доводы казались ему пустыми. Купец понимал, что перегибать палку нельзя — это могло повредить делу. А планы его шли далеко и были рассчитаны на много лет. Да, много лет должен был Бак черпать золота, бесконтрольно пользуясь богатством Севера. Черной ненасытной пиявкой он крепко впился в тело страны, давшей ему приют.

Крутые меры, предложенные Бенджамином Вольфом, могли разрушить планы купца. Если патриотизм вредил прибылям, Бак предпочитал о нем забывать. Но королевское

правительство никогда не забывало о своих интересах.

Новое поручение очень беспокоило купца. Больше того, он просто боялся. В глубине души он надеялся, что шкипер Браун не появится и ему не придется заниматься этим опасным делом. Только недавно с помощью графа Шувалова он получил кредит от русского правительства в триста тысяч рублей на развитие кораблестроения в Архангельске и спокойно положил их в свои карман, а тут...

Вдруг Бак вздрогнул от резкого стука дверного молотка.

В кабинете неслышно появилась горничная.

— Мистер Томас Браун, шкипер брига «Два ангела», — доложила она, приседая.

— Просите, Мери. — Бак приосанился, готовясь встретить гостя.

— Ах, шалунья! Не бойся, старый Браун не обидит девушку. Хе-хе-хе! — раздался неприятный смех.

В дверях кабинета появился грузный человек с полным сизым лицом. Длиннополый синий морской кафтан указывал на профессию гостя. В руках он держал шляпу, обшитую галуном.

— Шкипер Томас Браун, сэр! Весь к вашим услугам. — Гость протянул свою ручищу Баку. — Не прошло и часа, как я отдал якорь... прибыл из Лондона, сэр. — Гость закашлялся.

— Добрый день, мистер Браун, прошу вас. — Бак показал на кресло. — Поздравляю с благополучным прибытием, дорогой капитан. Разрешите узнать, что привело вас в наши отдаленные места?

Вильяме Бак подошел к двери и плотно закрыл ее.

— Чем могу быть полезен своему дорогому соотечественнику?

Браун, порывшись в кармане, вынул объемистый пакет и молча подал его хозяину.

— Простите меня, мистер Браун. Я отвлекусь только на одну минутку, — разорвав конверт и быстро пробежав глазами письмо, говорил Бак.

Это было обыкновенное деловое письмо торгового дома «Вольф и сыновья», клиентом которого состоял Бак. За длинным почтительным обращением следовал перечень новых, полученных от Бака денежных вкладов. Выражалась уверенность, что высокочтимый Вильямс Бак и в дальнейшем останется клиентом торгового дома «Вольф и сыновья». Далее шли пожелания успешной деятельности. В конце была сделана небольшая приписка: «Податель сего письма будет вам весьма полезен в коммерческих делах. Можете ему вполне довериться — его финансовое положение нам хорошо известно».

— Итак, мистер Браун, вы прибыли сюда для... — пряча письмо, начал было Бак, но так и не мог придумать, как закончить фразу. Ему помог гость.

— Готов выполнить все ваши указания, сэр. С вашего позволения, сэр... — И Браун протянул руку к бутылке с ромом.

— О, пожалуйста, дорогой капитан, угощайтесь. Это ямайский ром с благословенных Карибских островов.

Браун поднес горлышко к своему мясистому носу и, с наслаждением вдохнув, налил себе полный бокал.

— Божественный напиток, не правда ли, сэръ? За нашего славного короля! — вдруг рявкнул он. — За старуху Англию, за ваше здоровье, сэръ!

Бак поспешно наполнил свой бокал. Новые знакомые выпили.

— Хорошая штука ром, — захрипел Браун. — При моей работе заменяет все — и жену, и детей, и докторов, и даже всех королей и королев, ха-ха-ха! — закончил он оглушительным смехом. — В проклятой Африке, — продолжал Браун, — много пришлось поработать с черным товаром. Старый Браун давно бы был богачом, если бы чернокожие были более живучи, сэръ, но они плохо переносят морские путешествия. Дьявол их раздери! А страховка невыгодна. Страховые компании всегда норовят обсчитать честного человека... Да, поработали эти руки, — хрипел старый шкипер.

Вильямс Бак старался придумать, как перейти к делу. Присутствие соотечественника тяготило его.

— Дорогой капитан, надежны ли ваши матросы? — издалека начал Бак. — Дело, о котором я собираюсь с вами говорить, очень серьезно. Нужны преданные люди, умеющие молчать.

— О да, сэръ! Экипаж надежен. Мои люди, они будут молчаливы как рыбы. Пусть кто-нибудь из них посмеет открыть свою пасть! — Шкипер яростно потряс кулаком. — Дьявол всех раздери! Каждый из них заслужил виселицу и знает, что его голова стоит меньше, чем кокосовый орех.

— Так вот, мистер Браун, — перебил рассуждения шкипера хозяин, — нужно постараться для старой Англии... — Бак опять замялся.

— Ваши слова о старой Англии, сэръ, будут иметь гораздо большее значение, если я увижу здесь на этом столе солидную сумму. — Шкипер хлопнул ладонью. — А потом, сэръ, говорите короче.

Вильямс Бак не обиделся на грубость шкипера. Он подошел к потайному шкафу в стене, вынул небольшой мешочек с золотой монетой.

— Это вам, Браун, считайте задаток. Осенью вы сможете получить бочонок золотых гиней.

Шкипер подбросил на ладони золото и, удовлетворенно буркнув, сунул монеты в объемистый карман.

— Заранее согласен выполнять любую работу, сэръ, — спокойно сказал он. — Золото с детства убедительно действует на меня. Слушаю вас, сэръ!

Вильямс Бак, вплотную приблизив свои губы к уху шкипера, стал тихо нашептывать. Шкипер, соглашаясь, изредка наклонял голову.

— Все ясно, сэръ! Такое дело как нельзя лучше подходит моим людям. Я думаю, ребятам все равно, кому резать глотки... Это привычное дело, сэръ. Ах да! На ваше имя у меня в трюме имеется немного груза. В Лондоне я получил указание вскрыть ящики в вашем присутствии, сэръ, не вынося их с судна... — Шкипер выпил еще стакан и, снова плюнув на ковер, стал прощаться: — Итак, жду вас на своем судне, сэръ! Завтра ровно в полдень.

Вильямс Бак позвонил в серебряный колокольчик. Вошла горничная.

— Проводите гостя, Мери, — с облегченным вздохом сказал хозяин.

Браун, протопав тяжелыми ботфортами по передней, вышел на улицу.

В ушах Бака еще долго раздавался хриплый смех пьяного шкипера, а перед глазами

назойливо маячило его разбойничье лицо.

Чувствуя усталость, купец зевнул и посмотрел на часы.

— О, так поздно, — всполошился он, берясь за колокольчик. — Мери, скорее грелку в постель, северные ночи свежи даже летом.

Мечтая о теплой перине, Вильяме Бак заспешил в спальню.

Цоканье копыт и стук колес привлекли его внимание.

Бак прислушался. Лошади остановились у крыльца. Раздался стук молоточка; сомнения не было — еще один посетитель.

Горничная вопросительно взглянула на хозяина.

— Открой, Мери, — поколебавшись, сказал Бак. — Никто не может без спешного дела так поздно стучать в чужой дом. — И он, тяжело вздохнув, стал ждать.

Постукивая каблучками лаковых сапожек, в кабинет вошел Еремей Панфилович Окладников.

— Дорогому хозяину низжайшее почтение, — с достоинством поклонился купец.

— Ежели потревожили, прощения просим.

— Как можно, Еремей Панфилович! — притворно улыбнулся Бак. — Большие дела можно делать и ночью. Садитесь, господин купец.

— Правду говоришь, ежели барышом пахнет, что ночь, что полночь — все едино. Был бы толк.

Сняв поддевку тончайшего сукна, Еремей Панфилович развалился в кресле.

— Почитай, две недели дома не был, — снова начал он, — в Кемь морем ходил. Вернулся, приказчики говорят, от тебя присылали: спешное дело, дескать. Вот и решил на завтра не откладывать. У нас говорят: одно сегодня лучше двух завтра. — Еремей Панфилович хохотнул.

— Очень хорошая пословица, господин Окладников. Я хочу вам сделать наивыгоднейшее предложение...

Бак посмотрел на купца. Окладников, наострив уши, слушал.

— Что вы скажете, если я вам предложу... — Бак помедлил, — предложу заготовлять строевой лес в количествах, в десять раз больших? Как самому уважаемому купцу в городе, я...

— Супротив закону не пойду, — грубо отрезал Окладников.

— Почему против закона? — улыбнулся Бак. Он выдвинул ящик стола. — Прошу вас взглянуть. Вот бумага на право вырубки, сплава и вывоза онежского корабельного леса. Монополия сального торго графа Шувалова... Граф Шувалов уступил ее мне. Как видите, все по закону.

— Мало нажился? Опять лесом думаешь торговать?

— Да, отчасти и лесом. Так вот, нам нужен крупный подрядчик, солидный купец с большим капиталом.

— В заморье лес пойдет?

— А хотя бы и так.

— Э, нет! — Окладников крикнул и отер лицо платком. — Не подойдет. И так неприятностей полный короб. Против своих не пойду.

— Но почему? — улыбнулся Бак. — Мало ли в России лесов?

— Лесов немало, да эдак за десять годов сведем всю ближнюю корабельщину, сгубим корабельное дело, морские промыслы, — повторял Окладников слова онежских мореходов.

— Вот так же ваши кормщики донесли в Санкт-Петербург, — еще приятнее улыбался Бак. — А я написал коммерц-коллегии и доказал: развитие лесного промысла — благодеяние для этого края.

— Неужто обвел вокруг пальца? — изумился Окладников.

— Ах, милейший Еремей Панфилич! — Бак доверительно притронулся к плечу Окладникова. — Я вам откроюсь: мне срочно нужны деньги. Я думал с вашей помощью поправить свои дела, но раз вы не согласны, — хозяин пожал плечами, — мне придется вступить в переговоры с господином Парамоновым... Он согласится. Сто тысяч стволов в год — немалая выгода.

Окладников задумался.

— Прощка-то согласится... — растягивая слова, начал купец. — Только вот что: молод он еще со мной тягаться. А ежели прикинуть — лесу у нас видимо-невидимо. Что ему содеется...

— Еремей Панфилич встал. — Ну что ж, давай по рукам... Твои дела враз поправлю, знай Окладникова. — Купец протянул руку.

— Вы настоящий деловой человек, — пожимая ему руку, говорил повеселевший Бак. — Я всегда это знал... Но я тоже иногда могу быть полезным. К примеру, Еремей Панфилич, один дружеский совет: не посылайте ваши суда на Грумант.

— Почему? — удивился Окладников. — Там наш промысел, богатство...

— А лес? — вскрикнул тонким голосом хозяин. — Занимайтесь лесом, милейший Еремей Панфилич. — И Вильямс Бак вновь принялся вышагивать по кабинету. — Посылайте свои суда на Новую Землю.

— У меня шесть лодей на Грумант сготовлены... Многие купцы на Грумант лодьи готовят... — хмуро посматривая на Бака, возражал Окладников. — В других местах промысел куда плоше, выгоды нет.

— Другие купцы пусть терпят убытки, но, милейший Еремей Панфилич, зачем же терпеть их вам? Я пекусь о вашей выгоде. — Бак круто остановился. — Только вам открою, — тихо сказал он. — О, это большой секрет! — Он замялся, не находя слов. — Я слышал от одного человека, будто голландские капитаны не хотят больше терпеть конкуренцию ваших промышленников на Груманте. Мне кажется... я думаю, — путался Бак, — этим летом от лодий останутся одни обломки...

— Правду говоришь? — Еремей Панфилич схватил Бака за рукав. Злобная усмешка проползла по его лицу.

— Солидные люди не могут друг друга обманывать, — ответил Бак, с удивлением глядя в лицо Окладникова. — Сегодня я обману вас, завтра вы обманете меня. И мы с вами будем

иметь одни убытки.

Волнуясь, Еремей Панфилович вынул табакерку из моржовой кости работы холмогорских косторезов и, захватив щепотью носового зелья, шумно зарядил ноздри.

Вильямс Бак вежливо ждал. Гость прочихался, вытер нос платком.

— Милейший Еремей Панфилович, — продолжал англичанин, — не кажется ли вам, что мореход Амос Корнилов много вредит нашему общему делу? Я говорю о вырубке леса, — пояснил он, кинув на гостя внимательный взгляд. — Корнилов собирает вокруг себя недовольных, пишет жалобы и даже сам отвозит их в Петербург... Вам известно это, господин купец?.. Мери, — крикнул он, — трубку! — Вильямс Бак взял из рук девушки трубку с длинным чубуком и пустил сизый клуб дыма.

Да, Окладников хорошо знал Амоса Корнилова, истого ревнителя старой веры, простого русского человека, всем сердцем любящего свое Поморье. Все купцы-раскольники горой стоят за Корнилова, слушают каждое его слово, будто своего киновиарха... Когда Окладников взял из рук Вильямса Бака первый подряд на рубку ближнего строевого леса, Корнилов стал укорять его. А теперь... Еремей Панфилович представил разговор с неподкупным упрямым стариком.

— Н-да, — неожиданно пробурчал купец, — не в свои сани встречается Амос Кондратьевич... Однако грамотей — чертежи морского хождения самолично снимает, расписание мореходству пишет.

— А не знаете ли вы, милейший Еремей Панфилович, — перебил купца Бак, — какие знаки имеют мачты на лодье Корнилова «Соловецкие праведники», так, кажется, называется его новый корабль?

— Как не знать — знаю, — медленно ответил купец, стараясь понять, к чему клонит Бак. — Осьмиконечные золоченые кресты на мачтах. Для того ради, как лодья выгорецким, старой веры, скитам принадлежит. А Корнилов на ней кормщиком.

— Восьмиконечные золотые кресты... — повторил Вильямс Бак; он опять внимательно посмотрел на купца. — Но зачем вы, милейший Еремей Панфилович, на своих кораблях тоже поставили кресты? Это смешно.

— Но почему же, — все еще не понимал купец, — на моих лодьях православные кресты, для снискания благодати божьей.

— Я... я бы вам посоветовал, господин Окладников, кресты с ваших кораблей снять, тем более если вы их отправляете на Грумант. Они могут вам принести несчастье. — Англичанин весь окутался табачным дымом.

— Хм, н-да... — сказал Еремей Панфилович и призадумался, поглаживая холеную бородку. — У нас, русских людей, кресты, кроме хорошего, ничего не сулят... с испокон веков так.

— Но голландские капитаны имеют злобу на кормщика Корнилова и по крестам... Вы поняли меня, милейший Еремей Панфилович?

Теперь Окладников понял. Сначала в нем загорелась русская душа. Он хотел встать, ударить с маху зазнавшегося английского купчишку. Потом пришли другие мысли. Купец отер пот со лба и, тяжело вздохнув, опустил голову.

— Бывай здоров. — Еремей Панфилович встал и долго, не попадая в рукав, надевал поддевку. — За упреждение спасибо. Ежели ты мне друг — про галанские корабли никому ни слова. Другим разор — мне прибыль, — справившись, наконец, с поддевкой, объяснил Окладников.

Вильямс Бак понимающе кивнул головой. Он уже был в спальне, когда затарахтели колеса окладниковского шарабана. Напялив рыжий парик с большим черным кошельком на деревянную болванку, англичанин быстро разделся и, бросившись в постель, с наслаждением зарылся в пышные перины.

Глава тринадцатая

БРИГ «ДВА АНГЕЛА»

Выйдя на крыльцо, шкипер остановился в изумлении. После ночи, царившей в кабинете Вильямса Бака, с окнами, задрапированными бархатными шторами, Браун вдруг снова увидел день. Солнце щедро поливало яркими золотыми лучами заснувший деревянный город.

Северная красавица Двина была прекрасна при свете полуночного солнца. Она держала на своей упругой груди сотни кораблей. Густой лес мачт и снастей, отражаясь на зеркальной поверхности, оживал и шевелился от пробегавшей изредка зыби, как оживает зеленый лес от легкого дуновения ветерка. В тишине отчетливо слышались всплески игравшей рыбы. Далеко по реке разносилась полуночная петушина песня...

Медленно пробирался вдоль берега Томас Браун. Проходя мимо поморских судов, шкипер покрутил носом — даже пьяный, он чувствовал стойкий запах ворвани.

Если бы Браун мог читать по-русски, то удивился бы обилию святых, окружавших его бриг. Тут были «Николаи-угодники», «Святые Варлаамы», архангелы и святые мученики всех рангов. Среди поморских судов встречались и мирские названия: «Белый теленок», «Молодая любовь», «Верная супружница», «Грустная чайка» и разные другие не менее забавные имена.

Почти все русские суда были украшены резьбой и позолотой. Под бушпритом крепкой монастырской лодьи «Святой Савватий» стояла во весь рост деревянная фигура святого с поднятыми кверху руками. Праведник не-то поддерживал бушприт, не то застыл в молитве... Новоманерные суда, построенные на купеческих верфях, были украшены гербом с витиеватой надписью «Архангельск».

У кормы большого карбаса Томас Браун в удивлении остановился: на него глядело огромное, вырезанное на дереве человеческое лицо, казавшееся страшной маской.

Наконец шкипер добрался до своего брига. «Два ангела» был быстроходным парусным судном, выстроенным на стапелях Бристоля. Две высокие мачты со стеньгами и бушприт с утлегарем отличали его от стоявших рядом широконосых поморских судов с мачтами-одnodеревками. На носу брига красовалась голая дева с распущенными золотыми волосами. Продолговатый корпус был окрашен в ярко-зеленую краску. Опытный глаз сразу бы заметил водоросли и морские ракушки на корпусе брига — верный признак плавания в южных широтах. Чистота и порядок на корабле говорили о хорошем хозяйском глазе.

Взбираясь по сходне, шкипер натолкнулся на вахтенного, развалившегося у фальшборта, и разбудил его ударом кулака.

— Есть, сэр... есть, сэр... — испуганно лепетал матрос, вытянувшись в струнку и не смея — вытереть кровь, сочившуюся из носа. — Что изволите, сэр?

— Марш к штурману, щенок, живо! Пусть он захватит фонарь и идет к трюму. Скажи, капитан

ждет, пусть поторопится...

«Я должен раньше этого трусливого купчишки узнать, что находится в ящиках, — решил Браун. — Как я не догадался сделать это в море? Теперь-то я хорошо знаю, что они хотят от старого Брауна, — рассуждал он. — Клянусь дьяволом, мне по душе это дело. Куда выгоднее, чем возиться с черной падалью и жариться в тропиках. Сто золотых гиней за одну деревянную русскую посудину... Старый Браун будет щелкать их, как орехи... Как я не догадался сразу, к чему клонила старая обезьяна там, в Лондоне! Этот плут Вольф, дьявол его разорви!»

К трюму торопливо подошел штурман.

— Добрый вечер, сэр! — косясь на солнце, поздоровался штурман. — Что будем делать с фонарем, сэр? На палубе светло как днем.

— Возьми топор, Вилли, а Джо пусть откроет трюм. Осмотрим груз, ребята, — почти ласково сказал шкипер.

Штурман с матросом быстро освободили небольшое отверстие для входа, сняв две люковые доски как раз против железных скоб, ведущих в глубину трюма.

Первым, освещая дорогу, спустился вниз штурман. За ним медленно, перебирая скобы цепкими волосатыми руками, с пытением полез шкипер. Взяв из рук штурмана фонарь, Браун двинулся к носовой переборке. Освещенные слабым светом, выступили не видимые в темноте предметы. Вот ящик из толстых дюймовых досок, наполненный доверху кандалами, — их здесь по крайней мере две-три сотни. По стенкам трюма свисали цепи с ошейниками. Такие же ошейники были прибиты по сторонам толстых брусьев, идущих в три ряда во всю длину трюма. Местами между брусьями и бортом лежали грязные доски. Видимо, ранее они служили нарами. Кандалы и цепи с ошейниками были отнюдь не ржавые. Наоборот, они блестели. Их прекрасное состояние показывало, что совсем недавно эти принадлежности были в употреблении.

Шкипер с помощником подошли к груде продолговатых ящиков, уложенных у самой переборки. Заскрипели под топором доски. Придвинув ближе фонарь, оба нагнулись над грузом. Шкипер запустил руку, вытащил из ящика новенький мушкет.

— Так я и думал, дьявол их разорви, здесь оружие. Штурман молчал, вопросительно поглядывая на Брауна. Спрятав мушкет обратно в ящик и приколотив доску, Браун сказал своему помощнику:

— Пойдем спать, Вилли. Нам предстоит в этой стране хорошая работа. Осенью каждый из нас положит в карман солидный куш звонкой монеты. Будет на что выпить и позабавиться. Я знаю, Вилли, в Бристоле у тебя завелась смазливая девчонка... хи... хи... сделаешь ей хороший подарок. — И Браун похлопал по плечу своего помощника.

Томас Браун спал плохо. Воспаленное ромом воображение вызывало призраки... Стоны обреченных невольников слышались во всех углах... Будто невидимая рука перевернула страницу прочитанной книги, и шкипер вспомнил давно прошедшие времена...

Вот Браун видит себя десятилетним мальчишкой на палубе маленького парусника «Фортуна».

В сырой, дождливый день парусник покинул туманные берега Англии. Это был первый рейс юнги Брауна.

Трюм «Фортуны» был наполнен побрякушками, дешевым ромом, цепями, кандалами,

ошейниками, оружием, порохом, табаком и другими товарами, предназначенными для обмена на африканских невольников. Важное место в грузе занимали полосатые набедренные повязки — одежда для будущих рабов.

Вспомнился знойный день на гвинейском берегу. Под палящими лучами тропического солнца на парусник привозили закованных в кандалы негров. В маленький трюм тридцатипятитонного суденышка поместили двести семьдесят невольников. Каждому из них по решению английского парламента полагалась площадь в пять с половиной футов длиной и шестнадцать дюймов шириной на нарах, возвышающихся на два фута одна над другой. Но не так выходило на деле. Негры на «Фортуне» могли лежать только боком, тесно прижавшись друг к другу.

Томас подумал тогда, что даже мертвецу в гробу просторнее, чем негру во время плавания через Атлантический океан.

Рабы были скованы попарно — правая нога к левой ноге, правая рука к левой руке соседа. Но этого казалось мало, из предосторожности им надевали еще железные ошейники.

Да, первый рейс был памятным для юнги Брауна.

Штилевая погода задержала парусник. Запасы воды и продовольствия подходили к концу. Капитан сначала сократил выдачу пайка. Порцию сухих бобов и бутылку воды стали выдавать один раз в сутки вместо двух, а потом...

Томас Браун вздрогнул. События этого рейса никогда не изгладятся из памяти. Он видит большие тела акул среди барахтающихся в море невольников... Явственно слышит он страшные крики мольбы и ужаса...

Весь в поту вскочил Браун с койки. В его широко открытых глазах застыло безумие. С проклятием схватили дрожащие руки бутылку. Пересохшими губами припал шкипер к горлышку, глотая спасительную жидкость. И снова воспоминания...

На Ямайку «Фортуна» пришла после трехмесячного плавания с грузом, как тогда выражались, «неважного качества» — невольники совсем ослабели и едва держались на ногах. Браун вспомнил, что капитану все же удалось хорошо продать свой товар. Восемь тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли положил он в карман.

На Ямайке в трюм «Фортуны» погрузили сахар и черную патоку в больших деревянных бочках. Товары эти, приготовленные руками невольников из сахарного тростника, капитан рассчитывал не без прибыли продать в Бристоле.

Этот рейс решил судьбу юнги Брауна. Он жаждал теперь легкой наживы. Окружавшие его взрослые своей жестокостью и обманом воспитали из него подлеца, готового на любое дело, лишь бы оно обещало прибыль.

Все последующие годы Браун скитался по «рабскому треугольнику»: Бристоль — северный берег Гвинеи — Карибские острова. Постепенно поднимаясь по служебной лестнице, Томас Браун к сорока годам стал владельцем и капитаном собственного судна, перевозящего невольников. Жестокостью в обращении с черными людьми он далеко обогнал своих учителей. Крупная сумма лежала на его счету в лондонском банке, но ему все было мало.

Последнее время воспоминания все чаще и чаще одолевали старика. Он стал сильно злоупотреблять ромом...

Прошел мучительный час. Еще час. Наконец спирт сделал свое, и старый шкипер забылся. Но сон был тревожный, тяжелый: Браун скрежетал зубами, скверно ругался и стонал.

На бриге «Два ангела» все спали. Даже вахтенный у сходни, долго боровшийся с дремотой, свесил на грудь отяжелевшую голову. На следующий день ровно в полдень Цезарь, маленький черный бой, доложил Брауну:

— Мистер Вильямс Бак, сэр!

— Не поднимай высоко голову, животное, — ткнул негритенка кулаком шкипер, — голова негра всегда должна быть опущена!

Невыспавшийся, злой, позеленевший с похмелья, Браун неласково встретил Бака. Он плевался табачной жвачкой, свирепо поглядывал на гостя налитыми кровью глазами.

Спустившись в трюм, Бак покачал головой. Время, проведенное на Русском Севере, не прошло для него даром. Он знал теперь, как надо строить корабли, приспособленные к плаванию во льдах.

Вернувшись в каюту и усевшись поудобнее, Вильямс Бак закурил, молча выпуская клубы дыма. Цезарь, неслышно появляясь и исчезая, приготовил на круглом столике кофе.

Томас Браун, осушив стаканчик рому, ждал, что скажет купец.

— Да, капитан, — задумчиво начал Бак, — бриг плохо приспособлен к местному плаванию. Самое поверхностное знакомство даже с легким льдом может окончиться для судна весьма плачевно. А если вам придется встретиться с настоящими льдами, дорогой капитан, то, то... — Бак развел руками.

Браун вскочил.

— Не думаете ли вы, сэр, что я намерен соваться в проклятые льды, дьявол их разорви! Все богатства английского банка не заставят меня сделать это. Браун еще не выжил из ума... Мои ребята, сэр, слышали немало разговоров в Лондоне про русский лед. Смеем вас уверить, никто из них не захочет заморозить свою шкуру. Нет, сэр. «Два ангела» никогда не будут там, где плавают этот проклятый лед...

— Послушайте, капитан! — Вильямсу Баку наконец удалось прервать раздраженную речь старого шкипера. — Я вовсе не собираюсь посылать вас во льды. Для меня и так ясно, что это непосильно ни вам, ни вашему судну... — Купец отхлебнул кофе. — Я принес карту, где намечены пути движения русских промысловых судов на остров Шпицберген. Смотрите, эту карту составил русский мореход для моего высокого друга и покровителя графа Шувалова... Вот здесь, капитан, красными крестиками я пометил места, где вам удобнее крейсировать в ожидании русских. Вот здесь вам могут встретиться льды. Смотрите, как их наглядно изобразил кормщик. А в этом месте, обратите внимание, дорогой капитан, сходятся пути промысловых судов, идущих на Шпицберген из многих портов Белого моря.

Браун, внимательно изучив карту, смягчился.

— Прекрасная работа, сэр! — И вы говорите, эту карту сделал русский мореход?.. Удивительно, сэр!.. Не много я видел таких карт, составленных королевскими картографами, дьявол их раздери. Вы оставите ее у меня, сэр?

— О да, дорогой капитан, она ваша. Очень рад сделать маленькую услугу своему почтенному земляку. — Думаю, сэр, в Англии мне будут благодарны за эту карту... Большое спасибо, сэр!

Допив кофе и дав капитану несколько деловых советов, Вильяме Бак покинул судно. Вскоре после ухода купца на пристани появился груз. Это было продовольствие для команды и товары, которые Браун надеялся с прибылью продать по возвращении в Англию. Не

рассчитывая больше увидеть Архангельск, Браун решил заполнить трюмы бочками с золой и ворванью, кожами, пенькой и моржовыми клыками.

Быстро летели дни. В воскресенье архангелогородцы, отдохавшие на берегу Двины, видели, как двухмачтовый зеленый бриг уходил вниз по реке.

Глава четырнадцатая

КОРМЩИК ЛОДЬИ «СВЯТОЙ ВАРЛААМ»

Прошло два дня. Тяжело груженная лодья медленно двигалась против течения. Коричневая двинская вода с ворчанием встречала судно, билась о его крутые скулы. Облизнув деревянные борта, быстрые речные струи бежали мимо, торопясь к Студеному морю. Ровный северный ветер от самого Мудьюжского острова не давал ослабнуть парусам.

Солнечные лучи, изредка пробиваясь сквозь темные облака, загорались в ярко начищенных медных флюгерках на самых верхушках мачт поморского корабля. Трюмы лодьи «Счастливая любовь» загружены большими бочками с перетопленным тюленьим жиром. Приказчик шуваловской сальной конторы Фотий Рябов, закупивший весь груз у мезенских промышленников, торопился: контора подрядилась доставить в Архангельск к ильину дню первую партию ворвани. Английские и голландские корабли уже несколько дней дожидались груза.

Пройдя Новодвинскую крепость, на лодье убавили парусов.

Готовясь приставать к берегу, мореходы разбежались по местам: одни стояли на парусах, другие готовили к отдаче якорь, третьи разносили чалку.

Трое взрослых поморов в праздничной одежде и мальчик стоят на корме лодьи: у них заплечные мешки, деревянные морские сундучки, узелочки со снедью. Они не принимают участия в работе мореходов; облокотись на поручни, все четверо молча смотрят на открывшийся за поворотом реки город Архангельск. Это знакомые нам люди: Иван Химков, Степан Шарапов и Семен Городков, а с ними сирота Федюшка, сын погибшего зимой Евтропа Лысунова.

Два месяца отдыхали дома мужики, набираясь сил после страшных дней в беломорских льдах... Но дома сидеть накладно; нужда снова гнала поморов на заработки.

Мезенские кормщики, гостившие зимой у Амоса Корнилова, рассказали Ивану о Наталье. Поведали, как его невеста тайком прибегала к ним, плакала и просила уберечь от напасти, увезти с собой в Слободу. И мезенцы ждали Наташу сколько было можно, но так и не дождались.

Несмотря на тяжелую болезнь отца, Иван решил ехать в Архангельск и узнать всю правду. В пути тяжелые думы мучили его, душа рвалась к любимой. Он терзался сомнениями: не изменила ли ему Наталья, не польстилась ли на богатство Окладникова... Верный друг Степан как мог утешал его.

И только на берег положили сходню, друзья, попрощавшись с товарищами, чуть не бегом поспешили в город. Неудивительно, что прежде всего Иван Химков решил увидеть Наташу и ее мать Аграфену Петровну. Семен Городков с Федюшкой отправились в Соломбалу, где жил дед мальчика Егор Ченцов.

В домике у вдовы Лопатиной сидел отец Сергей — пузатый попик из Холмогор, с сизым крохотным носиком, утопавшим меж пухлых щек. Аграфена Петровна в нарядном лиловом шушуне, черном повойнике хлопотала около гостя. Отец Сергей страдал — с похмелья болела голова, во рту было гадко, туманило в глазах.

— Как живешь, голуба, рассказывай? — томясь от желания выпить, спрашивал поп.

— Что уж там, не сладкая жизнь, сам знаешь вдовью долю... Всяк норовит избидеть. Другой раз от обиды слезами изойдешь... Помолишься господу, заступнику сирых, и полегчает на душе. Так-то.

«Изобидишь тебя, — думал отец Сергей, — жизни не возрадуешься — зверю-вонючке, зовомому хорьком, подобна старуха. В защиту свою, аки тот зверь, зловонную струю клеветы испускает. Да так зальет — долго не отмоешь».

— Нелегко тебе, голуба, — сказал он, — а ты терпи, бог милостив.

— Отец Сергей, — предлагала хозяйка, — ты молочка бы с хлебушком покушал, хорошо с дороги-то. Я теперь одним молочком живу — другого душа не принимает.

Отец Сергей вздохнул, покосился на бутылку настойки, видневшуюся в степном шкафчике, и ничего не сказал.

— Ежели дочку свою в город привез, не утай, скажи. У меня старушка, сродственница одна есть — вмиг жениха...

Поп замахал руками. Добрый поповский живот, набитый всякой всячиной, заколыхался.

— Что ты, что ты, голуба... Молода еще Наденька. В другом у меня нужда.

— А что за нужда, поведай, батюшка? — вмиг насторожилась старуха.

Отец Сергей хорошо знал Аграфену Петровну, вдову своего старинного друга. Он знал, чем можно пронять жадную и любопытную старуху.

— Тайное дело-то, — исподволь, будто нехотя, начал он наступление. — Ты, голуба, языком по базару не мети, твоим-то языком дьявол давно владеет, — остерег он, шаря по горнице хитрыми глазками, — как еще дело-то обернется... Наливочки бы мне, голуба. Сухота в горле, и язык тово, не ворочается.

Аграфена Петровна торопливо поставила на стол бутылку с длинным горлышком и расписанную тарелку с медовыми пряниками.

— Пей, батюшка, да рассказывай, — торопила старуха. — Разохотил ты меня, грешную... Не сумлевайся, за порог не вынесу.

— Здрав буди, Аграфена Петровна. Отец Сергей выпил, пожевал беззубым ртом пряник и смахнул с бороды крошки.

— В тот день, — не торопясь, начал он, — пожар великий в городе был... Помнишь, голуба, пожар-то?

Старуха закивала головой.

— В тот день к церкви моей усопшего боярина привозят. Самолично архимандрит Варлаам с клиром отпевать приехал. — Поп сделал страшные глаза.

— Велением владыки ключи от церкви у меня взял и всю службу сам правил... Уехал, двери

закрыл, а ключи с собой увез... — Поп налил еще. Услышав удар церковного колокола, он поставил стаканчик и стал креститься.

— Да сказывай, батюшка, размахался ты даром, часы бьют, а ты, знай, крестишься.

— Молчи, голуба, не мешай. — Отец Сергей с наслаждением выпил. — Не ведал архимандрит: из спальни-то у меня ход прямо в церковь. Я и пошел на покойника глянуть, ан смотрю: ни гроба, ни покойника в церкви нет.

Отец Сергей остановился и взглянул на старуху.

— Покойника в церкви нет? — эхом отозвалась она. — А где же он делся, миленький?

— Не перебивай, голуба, — строго сказал поп. — Тут меня словно кто надоумил в подвале посмотреть. Спустился, смотрю: гроб меж товара стоит. Глянул я на покойника, — отец Сергей изобразил на своем лице ужас, — усопший во гробе распух, што тесто в квашне. Борода рыженька и дух нечист. Назавтра Варлаам внове приезжает, идет мимо меня, сам церковь открывает и, гляжу, через малое время бежит молчком оттуда к воротам. Однако двери закрыл и ключи с собой взял.

Отец Сергей выпил еще стаканчик и опять пожевал пряник.

— Ключи с собой взял, — сгорая от любопытства, вторила ему старуха, — дальше что, сказывай.

— На другой день паки[11] Варлаам приезжает. Опять к церкви и опять как ошарашенный вон... И еще два дня так было. А седни я внове в церковь пошел, смотрю: гроб с покойником на месте стоит. Глянул я на упокойника и сомлел...

— Поп крякнул, допил последний стаканчик.

— Глянул на упокойника и сомлел, — тоненько пропела Аграфена Петровна.

— Во гробе, смотрю, старичок седенький лежит, сухой, суровость в обличье... Тот рыжий велик был, а старичок-то, словно ребенок, махонький, и воздух чист... тело тленом не тронулось, и улыбка на устах.

— Ахти мне, страхи какие, а дале что, богом прошу — не тяни, батюшка!

Громкий стук в окно прервал задушевную беседу. Стучали настойчиво и многократно.

Как ни хотелось Аграфене Петровне дослушать до конца, а открыть все же пришлось.

Когда старушка увидела на крыльце Ивана Химкова, она побледнела и попятилась.

— Плохо, матушка Аграфена Петровна, жениха встречаете, — стараясь казаться веселым, сказал Химков. Он обнял и поцеловал старуху. — Наши все кланяются, велели вам здоровствовать.

— Спасибо, спасибо, — собралась с духом Лопатина, — пока живем, слава богу, здоровствуем... Наташа, доченька, — неожиданно захныкала старуха, — ушла, горемычная, ушла, словно в воду канула.

— Я пойду, матушка, в городе дел много, — кланяясь и отступая к двери, объявил отец Сергей. — Спасибо за хлеб, за соль...

— Не пуцу, — кинулась к нему Аграфена Петровна, — сказывай, что дале было, тогда уйдешь.

— Да как же, матушка? К тебе гости дорогие... — бормотал поп, топоча ногами. — Буду еще в городе, беспременно зайду. Наливочку заготовь, не забудь, голуба. — И поп юркнул в дверь.

Старуху словно подменили.

— Ушла Наталья. Знать, неспроста от жениха спасается, не мог к себе приручить, — с яростью набросилась она на Ивана. — Ты сам во всем виноват — два года со свадьбой тянешь, все денег нет. А без денег всяк в дураках бывает.

— Врете, Аграфена Петровна, быть того не может! — От жестокого оскорбления Иван побледнел, будто колом повернуло ему сердце. Он грозно шагнул к старухе: — Скажите, где Наталья?

— Ой, ой, спасите, миленькие! — заголосила Лопатина, испугавшись Ивановых глаз. — С ума ты сошел, парень! В Вологде у тетки живет Наталья — больше деться ей некуда.

И старуха поспешно отбежала за печку, подальше от страшного жениха.

— Тебе, Иван Алексеевич, тут делать нечего. Иди откуда пришел! — крикнула она, осмелев.

— Спасибо, Аграфена Петровна, поприветили. Не говоря больше ни слова, Химков выбежал на крыльцо, крепко хлопнув дверью.

— Знай, дурак, нет Натальи в Вологде! Для тебя нигде нет, лучше не ищи, все равно не найдешь! — открыв окно, завизжала Аграфена Петровна. — Проваливай, проваливай, женихи-то у нас найдутся с деньгами, не то что ты, нищий!

— Ну-к что ж, пойдём, Ваня, — обняв друга, сказал Степан. — Сбесилась старая ведьма. С чужого голоса говорит. Думаю, про Наташу у Окладникова спросить надо. Ему-то ведомо... Не плачь, Ваня, не надо.

— погоди, Еремей Панфилович, — бледный как снег шептал Иван, — погоди, друг! Пойдем, Степан, прямо к нему пойдём.

Не заметили друзья, как очутились у резного крыльца купеческого дома. Не помнил Иван, как вошел в горницу.

Еремей Панфилович что-то писал, прикидывая на счетах.

— А, Химков младший... Иван Алексеевич, — снимая очки, сказал Окладников.

— Ну, с чем пришел, выкладывай.

На лице купца Химков увидел добродушную улыбку.

— Где Наталья? — задыхаясь от ярости, едва слышно спросил Иван и, сжав кулаки, двинулся на купца.

— Знал бы, сказал, — спокойно смотря в глаза мореходу, ответил Еремей Панфилович, — да беда — не знаю. А ты сядь, не гоношись, посидим рядом да поговорим ладом. Кулаками делу не поможешь, а по-хорошему ежели, глядишь, и я чем помогу.

Едва сдерживая гнев, Химков все же сел. Его смутило спокойствие купца.

— В одном перед тобой виноват, Иван Алексеевич, — продолжал медленно Окладников, — полюбил Наталью, паче жизни она мне стала. Не посмотрел, что твоя невеста, сватать стал. Прости, Иван Алексеевич. — Окладников встал и поклонился Химкову. — Да ведь отказала она, — усевшись на место и немного помолчав, снова начал купец. — На богатство мое не

посмотрела, слушать не стала. Ну, я не скрою, в тоске да в горе пребывал. Однако смирился, отошел. Другой вины, Ваня, за собой не знаю. Сам понять не могу, куда Наталья делась. А ежели что злые языки говорят, не верь, брат, богом клянусь, не верь...

— Может, слышал что, Еремей Панфилович, посоветуй, как быть, где концы искать? — Теперь в голосе Химкова звучала мольба.

— Знать не знаю и ведать не ведаю. У матери спроси, с нее первый спрос.

— Спрашивал, Еремей Панфилович, не говорит. В Вологде сестра Аграфены Петровны живет. Дак, может, Наташа к ней подалась, у тетки скрывается?

— Может, и так. Не пропадет девка, найдется. О другом тебе думать надо — денегат сколотить. Отец-то болен ведь? — Купец испытующе посмотрел на Химкова. — Вот что, парень, этим летом я новую лодью на Грумант обряжаю. Видал, может, «Святой Варлаам» против дома Свечниковых стоит... Так вот, коли охота кормщиком на нее, иди — не обижу... Другой бы тебя нипочем кормщиком не взял — молодой, а я знаю, не подведешь — отцовская хватка-то.

Иван совсем опешил. Он понимал: предложение Окладникова для него большая честь. В себе он был уверен. Но Наталья? Мог ли он ее бросить!

— Нет, Еремей Панфилович, не могу. Спасибо за честь, знаю, великое дело для меня делаешь, — ответил Химков. — Не жизнь мне без Натальи. Хотя бы след отыскать, — с тоской говорил он, — весточку бы от нее... Нет, пока не найду, никакое дело невмочь.

Полный ненависти взгляд бросил купец на молодого Химкова и тут же, таясь, спрятал глаза.

— Неволить не буду, Иван Алексеевич. Однако подумай, три дня лодья тебя ждать будет. Хорошего хочу, как сыну.

Химков еще раз поблагодарил купца. Вышел от него словно в тумане. «Бить хотел, а он ко мне добром. Повинился, что Наталью любит», — пронеслось у него в голове.

Хмурым взглядом проводил купец молодого Химкова.

— Ну-к что ж, сказал злодей, где Наталья? — встретил товарища Степан.

— Не ведает про то Еремей Панфилович, — потрянув головой, тихо сказал Химков. — Добром ко мне... кормщиком на новую лодью берет, слышь, Степан, на Грумант обряжает.

Степан свистнул.

— Вот как, кормщиком! Ну и хитер, старый пес? Ну-к что ж, и мы неспроста. Ты как, Иван, согласился?

— Нет, Степан, как можно, Наталью буду искать.

— Эх, Ваня, Ваня! Идти надо было. Что мы без денег-то? В таком деле перво-наперво деньги. Полста бы рублев наперед у него взять. С такими деньгами я не только Наталью, черта за хвост приволоку. Вот и выходит...

— Степан, — обнимая друга, радостно вскричал Химков, — не думал я, что ты Наталью без меня похочешь искать! А ежели так... — И бросился обратно в дом.

— Не скажи старому черту, зачем тебе деньги! — успел крикнуть вдогонку Степан Пока Иван Химков разговаривал с Окладниковым, Степан уселся на ступеньки крыльца и смотрел на

весенние, мутно-коричневые воды Двины.

— Нет, шалишь, — забывшись, громко сказал он, — шалишь, Еремей Панфилович, окаянная твоя душа. Не обманешь, насквозь твою хитрость вижу.

Но Степан ошибался, думая, что разгадал купца. Он не мог постичь всю низость души Окладникова и не предполагал, на какие лишения и опасности обрекает своего друга Ивана, советуя ему стать кормщиком «Святого Варлаама».

На крыльцо выбежал обрадованный Химков.

— Степан! Дал ведь Еремей Панфилович, сто рублей выложил! Смотри! — Химков с торжеством показал другу десять золотых. — Полную волю мне дал. «Бери, говорит, в артель кого хошь, я не против».

— Ну-к что ж, ежели дал — хорошо. Иди, парень, на Грумант. Воротишься — Наталья тебя ждатель будет. А окромя всего, ты людей из беды выручишь. Семена Городкова на лодью возьми — верный человек. Федюшку зуйком — вот мать обрадуется... Да и Ченцова прихвати. Егор дело знает, не подведет. А теперь поздравить надо: с первой лодьей тебя, — обнял друга Степан. — В таком разе и стаканчик испить не грех.

И друзья отправились отпраздновать удачу.

На следующий день погода изменилась. В городе стало холодно и туманно, всю ночь шел студеной мелкий дождик. Побережник упорно нес с моря низкие темные облака, и казалось, сырой, ветреной погоде не будет конца. Но опытные кормщики знали: летом недолговечен побережник; скоро полуденные ветры разгонят тучи, и попутный ветерок расправит белые полотнища лодейных парусов. Около двадцати промысловых судов были готовы к отходу на далекий Грумант и, прижавшись к пристаням Соломбалы, ждали перемены ветра.

На колоколенке дряхлой Преображенской церкви звонили к заутрене. Город просыпался. Носошнику Егору Ченцову с лодьи «Святой Варлаам», шагавшему по грязной улице, встречались редкие прохожие. В руках морехода виднелся объемистый предмет, бережно завернутый в чистое полотенце. Он прошел мимо длинного ряда обгоревших развалин. После пожара домохозяева еще не собрались отстроиться. Много было и новых домов с не успевшими еще потемнеть деревянными стенами. На высоких шестах вертелись флюгерки в виде лошади, несущейся вскачь, льва или страшного змея. Иногда флюгера изображали корабль с полным вооружением. Шесты украшались разноцветными флажками — ветренницами. Сейчас головы животных и форштевни кораблей показывали на северо-запад.

Вот и древняя Преображенская церковь. Приблизившись к ней, Егор снял шапку; злой побережник успел растрепать седые волосы, пока мореход поднимался по скрипящим ступеням старого крыльца.

На паперти, направо от входа, нагнувшись над конторкой, сидел дородный бородач.

— Здравствуй, Пафнутыч, дело к тебе, уважь. — Мореход с достоинством поклонился.

Церковный староста Сукнин прервал свои записи.

— Здравствуй, Егор Петрович. Что за дело? Сказывай. Что, ежели можно, уважим.

Мореход поставил на конторку свою ношу и осторожно развязал. Перед церковным старостой предстала новенькая, искусно сделанная модель лодьи «Святой Варлаам».

Егор Петрович опять поклонился.

— Найди местечко, Пафнутьич, будь другом, поставь на счастье, ведь по первой воде идем. Пусть к святым отцам ближе будет лодья-то, авось и минуют нас морские бури да злые люди.

— Эх-х, беда мне с вами, мореходами, — нахмурился Пафнутьич, — заставили своими кораблями всю церковь, хоть иконы убирай да ваши лодьи и раньшины развешивай... Смотри, Егор Петрович, смотри сам, ну, куда я твою посудину поставлю?

Оглядев стены, Егор Петрович почесал в затылке.

— То верно, Пафнутьич, верно, друг милый, да ты уважь, поставь где — нигде, найди местечко-то. А мы тебя во как отблагодарим... — Егор Петрович достал из кармана деньги. — Прими вот рупь да мелочь на свечи... А нам никак без этого нельзя, на душе покоя не будет, думы одолевают. В море-то не в горнице уху хлебать!

— Не учи ученого, Егор Петрович, знаю ведь ваши порядки, в — старостах сорок лет хожу. — Он тяжело вздохнул. — Некуда ставить лодью, то правда святая, да что с тобой делать... Идем, может, где в трапезной место сыщем.

Старики вошли в трапезную. Большое помещение тоже было увешано, как и стены паперти, моделями поморских судов. Тут были и лодьи, и раньшины, шняки, кочи. Были и новоманерные суда — гукеры и гальоты. Некоторые покоились на резных деревянных полочках, часть висела на железных крюках.

— Видишь, Егор Петрович, сколь судов понаставлено, за полтысячи давно перевалило. А все несут и несут... Куда поставишь? — Наконец он решительно подошел к двум раньшинам, стоявшим рядом, и раздвинул их. Лодья «Святой Варлаам» поместилась посредине.

— Как раз стала на место, Пафнутьич. И обиды никакой не будет. Вот только я гвоздочком прихвачу, чтобы вернее было. Как по-твоему, а?

— Давай прихватывай, — махнул рукой староста, — ужо воюксы привезешь. Люблю я ее с кашей употреблять... Лодейники ваши приучили.

— Не сумлевайся, Пафнутьич, — обрадовался мореход, — воюксой мы тебя обеспечим, на год тебе хватит, на кашу-то.

Егор Петрович, перекрестясь, застучал молотком, приколачивая «Святого Варлаама» между «Молодой любовью» и «Тремя святителями». Пафнутьич помогал старому носошнику, придерживая лодью. Закончив, Егор Петрович поставил свечку у иконы покровителя лодьи святого Варлаама, помолился и вышел из церкви успокоенный и довольный.

На крыльце старый мореход сразу почувствовал перемену погоды. Задравши седую бороду, он внимательно осмотрел небо. Сквозь поредевшие тучи просвечивало солнышко, дождь прекратился, в воздухе стало теплее.

— Самое время в путь, — громко сказал Егор Петрович, — спешить надо. Наши-то, верно, все на лодью собрались. — И мореход, шлепая по грязи, заторопился к реке.

На пристанях Соломбалы царило оживление. Сюда собрались покрутчики с уходящих в море судов. Толпились родные и близкие с покрасневшими от слез глазами. Отслужили молебен. Древний худенький попик в потертой ризе ходил по лодьям и, гнусавя псалмы, помахивал кадиллом. Кормщики и хозяева, крестясь, совали в кружку медные деньги. Слабые порывы ветерка уносили в небо сизый сладковатый дымок курившегося ладана.

Лодью «Святой Варлаам» провожал сам хозяин Еремей Окладников. По старинному обычаю промышленники стали просить купца:

— Хозяин, благослови путь!

— Святые отцы благословляют, — степенно отвечал Еремей Панфилич.

Стоявший рядом с Окладниковым взволнованный молодой кормщик Иван Химков добавил:

— Праведные бога молят.

Повернувшись лицами в сторону Соловецкого монастыря, мореходы торжественно помолились, испрашивая счастливого плавания, и разошлись сто своим судам. Послышались голоса кормщиков, отдающих приказание.

— Иван Алексеевич, — позвал Окладников и, развернув тряпку, протянул два золоченых креста, — ставь на счастье. По три целковых за штуку плачено... о тебе радел. — Еремей Панфилич искоса взглянул на Химкова. — На мачты ставь!

— Сделаем, Еремей Панфилич, поставим. — Торопясь, Химков взял из хозяйских рук кресты.

На лодьях выкатали якоря. Развернувшись по солнцу, надув паруса, белыми птицами побежали корабли к Студеному морю.

Окладников долго стоял на пристани с непокрытой головой.

Давно скрылись из виду лодьи, разошлись по домам родственники и друзья мореходов.

О чем думал Еремей Панфилич? Может быть, он сожалел, что отправил новую лодью «Святой Варлаам» на Грумант? Так ли?.. Остальные пять его кораблей, выполняя хозяйский приказ, выйдя из Белого моря, повернут на восток к берегам Новой Земли.

Глава пятнадцатая

ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

После проводов Ивана Химкова прошло долгих три недели. Не зная покоя, Степан рыскал по городу в надежде узнать что-нибудь о Наталье.

Но все было напрасно. О Наталье никто ничего не знал.

Сегодня Степан сидел в большом трактире «Развеселье», что у базарной площади. За стол к Степану подсел молодой рыжий мужик. Выпили вместе, а выпив, подружились. Рыжий мужик часто вздыхал, сопел, сморкался, и Степану нетрудно было понять, что у приятеля на душе ненастье. Звали рыжего мужика Петряем, а прозывали Малыгин.

— Что невесел, друг? — участливо спросил Степан.

— Видать, не с чего веселым быть, — хмурил брови Петр.

— Расскажи, друг, может, и помогу чем. А не смогу помочь, ну-к что ж, все легче у тебя на душе станет. Горе, ежели его с другим пополам разделить, всегда легче.

— Хороший ты человек, Степан, знаю, помог бы, да дело такое... — Малыгин в нерешительности тербил могучую бороду.

— Выпьем, Петя, за дружбу, она из всех бед выручает.

Друзья выпили еще по стаканчику.

— Ну, слушай, Степан, да смотри не обскажись, не то мне добра не видать.

— Говори, и на правеже[12] не обмолвлюсь. Вот те крест. — Степан перекрестился.

Малыгин обвел глазами полупустой кабак. За стойкой пересчитывал деньги трактирщик, в углу орали скандальные «питухи»; рядом четверо иноземных мореходов весело разговаривали за штофом водки.

Петряй, тяжело вздохнув, сказал:

— Вдову Лопатину Аграфену Петровну знаешь? Дочка у нее красавица, Наталья. Сама-то старуха — суцая ведьма.

— Слыхал, ну-к что ж, — стараясь казаться спокойным, ответил Степан. Он сразу насторожился, хмель как рукой сняло.

— У ейного братца, Аграфены Петровны значит, лавка здесь. Сам-то в скитах выгорецких нарядчиком. А в лавке хозяйкой девица одна, Марфуткой кличут... вроде как поллюбовница ему, старцу-то, — замялся Петр.

— Хороша девка? — любопытствовал Степан.

— Марфутка, что ль? — Петр сразу оживился. — Правду, парень, скажу: не девка — клад. В телесах пышна, а уж умна и... и... не обскажешь, парень, Ну, промеж нас любовь получилась. Говорю ей: брось старика, идем к попу, окрутимся, чего бы лучше, да девка свой интерес блюдет, говорит: «Что за тебя, за кучера-то, выйду, без хлеба насижусь, а здесь помрет старик, я лавкой завладаю. Вот ежели ты заезжий двор откупил бы, не думавши к тебе ушла».

— Старцу-то годов много ли? — опять перебил Степан.

— Седьмой десяток на исходе, да крепонек старик-то, что старый дуб. Смерти скорой ждать не приходится... Ну, говорю ей, Марфутке-то, у самого заезжий двор в мыслях и деньги накоплены, а она твердит одно знай: «Будешь хозяином — твоя, а пока не взыщи, не могу».

— Петр налил себе и другу водки.

— Ну, подыскал я подходящее заведение, и цена сходная, однако подсчитал свои деньги — не хватает. Окладникову душу открыл, помощи просил, а он, лиходей, не то чтоб денег дать — от себя не отпускает, а ежели уйдешь, говорит за жеребца плати, иначе судом взыщу.

— Ну и жох твой Окладников. А жеребец чей?

— Жеребец купецкий, нет спору, хорош был зверь. Да не виноват я, волки его загрызли. Хозяин-то в такую глухомань загнал, не приведи бог. Слыхал, может, Выгоречье?

— В скиты, что ль?

— В скиты, угадал, друг... Немного до скитов осталось — задрали волки жеребца, как сам жив остался, не ведаю.

— А почто в скиты гонял, от грехов хозяин спасался, что ли?

— Э-э, тут, друг, дело темное. Хозяин дома сидел... — Петр замолчал.

— Ну-к что ж, ежели начал, говори, парень, а я слово дал — молчать буду.

— Была не была! — Петр махнул рукой. — Наталью, Лопатину в скит Безымянный отвозил — не обскажи, друг, хозяин посулил душу вынуть, коли кто узнает.

— Наталью?! Да что ты, милый! Наталью, говоришь? — Степан вскочил со скамьи и бросился обнимать приятеля. — Да я за эти слова чем хошь отблагодарю... Жеребца откуплю.

Петр, выпучив глаза, смотрел на не помнящего себя от радости морехода.

— Ты что, Степан, жениться на ней, на Наталье, хочешь?

— Да где уж мне! За дружка своего рад, на Груманте с ним шесть годков прожили. Про Ивана Химкова слышал? Его невеста. Ну-к что ж, парень, — подумав, уже спокойно продолжал Степан, — помоги мне Наталью из скита увезти, а я тебе денег дам, за жеребца расплатишься, а ежели хватит, и на заезжий двор.

— Супротив Окладникова? Ты что, друг? — Петр даже рот раскрыл от удивления. — Да Еремен Панфилович в порошок нас сотрет.

— Авось не сотрет твой Окладников-то, кабы за такое дело самому плетей не попробовать, сам знаешь, ныне не милуют. Да ты послушай... — И Степан рассказал все, что он уже знал о Наталье, Иване Химкове и Окладникове. — Ну-к что ж, милай, согласен доброе дело сделать, товарищу помочь? А мы тебя вовек не забудем. Хозяина твоего, прохвоста, жалеть нечего, Сколь он простым людям зла сделал, как его ни казни — все мало. А за нас все мореходы горой станут — сила, не шути, милай!

Петр колебался. Примерял и так и этак.

— Согласен! — крепко хватил он ладонью о стол. — Согласен, ежели так!

Лицо Степана сделалось строгим, он расстегнул ворот рубахи, снял с шеи медный нательный крест.

— Крест этот, Петр, святой, — торжественно сказал он, — сколь он горя, трудов тяжелых видел — не счесть. Слезами, кровью омыт. Поклянись, что до конца, от слова не отступишь. На этом кресте поклянись.

Петр истово перекрестился и поцеловал крест.

— Пусть на меня русская земля, пусть на меня крест святой, коли от слова в чем отступлюсь, — твердо сказал он.

Друзья долго обнимались.

— Знай, Степан, тяжел летний путь в скиты, — успокоившись, сказал Малыгин. — Не зимой, на тройке не доедешь. Болота, топи. Старцы праведные от начальства подальше в такую глухомань залезли, что не приведи бог. Ежели только по рекам да волоками добираться.

— Ну-к что ж, и по рекам, по волокам пойдём, нам не впервой. Петряйка, пойдём ко мне, милай! Обговорим дела.

Бросив двугривенный целовальнику, друзья, обнявшись, вышли на улицу.

Глава шестнадцатая

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА

По течению реки Онеги медленно плыл большой тяжелый плот. Несколько сплавщиков торопливо перебежали с места на место, отталкиваясь от берега длинными шестами.

Четыре человека с трудом ворочали правильное весло, служившее на плоту рулем; громоздкое сооружение из толстых бревен корабельной листовенницы медленно поворачивалось на излучинах реки.

Старшой сплавщиков, огромный, звероватый на вид мужик, подбадривал товарищей, кричал и размахивал руками.

— Степан Бородатый, Степушка, — гремел по реке густой голос, — нажми, милай, нажми еще, родненький! Чтоб тебя... упустил, окаянный, борода проклятая, родимец те расшиби! Э-э, Степан Глазастый! — И старшой стремглав бросился на нос плотовища. — Эх, мало, видать, драли лупоглазого черта, живости нисколько в тебе нету!

Старшой приналег на шест, помогая отвести приткнувшийся к берегу плот.

— А ну, ребяташки, припади на сю сторону, — снова покатился бас по реке.

— А ну, вместе, а ну, разом!

Навстречу плоту, по другую сторону излучины, шел под веслами небольшой карбас. На суденышке сидело четыре человека: один на руле и трое на веслах. Четыре пищали были аккуратно уложены на дне карбаса, тут же лежали туго перевязанные заплечные мешки. Одеты все четверо были одинаково: грубошерстная вязанка, сверху легкие меховые куртки. Толстые суконные штаны заправлены в бахилы — сапоги с мягкой подошвой, на головах высокие войлочные шляпы с узкими полями.

Это были Степан Шарапов и его товарищи. Как ни торопился Степан, а за хлопотами время летело быстро. Вот и август, последний летний месяц, позолотил листву на деревьях, а выгорецкие скиты все еще были далеко.

Задумался Степан, уставив неподвижный взгляд на дремучие онежские леса, со всех сторон обступившие реку.

— Степан, слышишь, будто кричит кто-то, — прислушиваясь, сказал один из гребцов, — ругается будто. — Не слышу, Петя, — встрепнулся Шарапов. — Ну-к что ж.

— Побей меня бог, — вдруг сказал загребной, приложивши к уху крупную ладонь. — Побей меня бог, ребята, — повторил он, — ежели это не Онуфрий Иванович, кормщик... На лодье «Никола Мокрый» вместе на Грумант хаживали. — И здоровяк загребной, русоволосый и голубоглазый, расплылся в радостной улыбке.

— Он самый, — подтвердил Тихон, второй гребец, — завсегда Онуфрий для бодрости крепкое слово любит.

— Голос-то у него не приведи господи, словно колокол...

Гребцы снова нажали на весла. Вскоре за поворотом показалась тяжелая громада плота.

— Онуфрии Иваныч! — закричал русоволосый. — Как здравствуешь, откеда бог несет?

Старшой на плоту посмотрел из-под ладони.

— Федя! — раздался могучий голос. — Федюшка милай! — Голос внезапно оборвался, старшего качнуло. Плот опять приткнулся к берегу, на этот раз основательно.

— Крепись к соснам, ребята! — услышали плотовщики. — Отдохнем... Гребись, Федя, к нашему шалашу ушицу хлебать. Ушица знатная, зови товарищей, на всех хватит.

Плотовщики с охотой привязали мочальные веревки за стволы толстенных сосен, и плот надежно встал у берега. Степан с товарищами, поздоровавшись с плотовщиками, уселся возле шалаша, крытого зелеными еловыми ветвями.

О Степане, грумаланском герое, все были наслышаны, все были рады его видеть.

Наевшись досыта жирной ухи и разваристой пшенной каши, мореходы закурили трубочки.

— Вот и гляди. — Онуфрий ткнул ногой по бревнам, — много ли такого добра в наших лесах осталось? И платят за порубку и за сплав сходно — выходит, нам вроде и на промысел в море идти незачем... Вот мореходы-поморцы и в лесу и на сплаве... здесь вот, на плоту, вся артель с «Николы Мокрого». — Онуфрий Иванович захрипел трубочкой. — А сердце болит, — добавил он, помолчав, — сами-то что без леса делать будем? Без леса и мореходству нашему конец. Ну, а ты, — обратился Онуфрий Иванович к Степану. — Ты здесь какую корысть блюдешь? Поведай нам.

— Я-то? Ну-к что ж. — Степан расправил бороду. Наступила очередь Степана рассказывать. Храня молчание, мореходы усиленно дымили трубками, поплеывая в мутную онежскую воду.

— Н-да, дела-делишки, — промычал Онуфрий Иванович. — В скиты ныне всякого народу набежало, от забот матушки Лизаветы оберегаются. Озверел народ — себя не жалеет, а уж брата своего, человека... Бывает, зайдешь в скит, а оттель живым не выйдешь. Большаки выгорецкие беглых прикармливают, а те волками по лесам рыщут... Чужому человеку к скитам не подойти.

— А мы в монастырь сначала идем, там келарь отец Феодор, знакомец мой, авось поможет, — скороговоркой вступил Петряй Малыгин. — Православные скитов не жалуют, и ежели можно, всегда выгорецким старцам свинью подложат. Так-то думка моя.

— Монастырских святых отцов на выгорецких праведников решил натравить?.. Неплохо, — отмахиваясь от комаров, одобрил Онуфрий Иванович. — Пусть Собаки перегрызутся. Авось вам на пользу...

К вечеру, наговорившись вдоволь, друзья разошлись. Тяжелый плот оторвался от берега. Опять сплавщики торопливо забегали с места на место, помогая плоту выйти на середину реки. Опять покотился по берегам бодрый, густой голос старшего...

Плот давно скрылся за крутым поворотом, а до слуха Степана и его товарищей все еще доносились крепкие слова Онуфрия Ивановича.

— Степан Бородатый, Степушка милай, ткни шестом, ткни справа-то, ошцо ткни!.. Ох, чтоб те анафема, черт бородатый!.. Слева ткни, шестись, дьявол, знай шестись!..

Еще несколько плотов из корабельного леса встретил на своем пути Степан Шарапов. По берегам реки то здесь, то там работали люди: они подкатывали срубленный лес к реке, вязали плоты. Плоты сплавляли к Белому морю в село Усть-Янское. Много знатных мореходов — архангелогородцев, кемлян, мезенцев — узнавал Степан с товарищами среди лесорубов и сплавщиков. Много поморских кораблей осталось в этом году в становищах без кормщиков, без промысловых артелей.

На подходе к большому порогу мореходов остановили громкие крики с берега.

— Лес идет! — кричали сплавщики.

— Бережись, ребята! — вопили они на разные голоса. — Лес идет! Тащи лодку на берег!

— Лес идет! — гудело по берегам.

— Дело опасное, ежели модем лес плавят, — забеспокоился Петряй Малыгин. — Давай-ка, Степа, в сторону... переждем.

Мореходы вытащили лодку на берег, а сами уселись на ствол поваленного ветром дерева.

Полноводная река, ударяясь в каменную преграду, неистово шумела и пенилась. Могучие потоки яростно бились в стремнинах; перевалив лобастые скалы, с грохотом и ревом падали вниз.

Из-за песчаного мыса в речных струях показался могучий ствол вековой ели. Приближаясь к порогу, он двигался все быстрее и быстрее. Подпрыгнув на камнях, ствол переломился надвое и исчез в пенящемся потоке. Появилось еще несколько бревен. Запрыгав на камнях, они стремительно пронеслись через порог. Но вот бревна пошли лавиной, враз покрыв всю реку коричневым настилом.

По берегам бежали сплавщики. Крича и ругаясь, они баграми сталкивали в поток застрявшие стволы. Упершись в камни, бревна безудержно лезли одно на другое. С шумом и треском взгромоздился холм из могучих стволов... Образовался затор.

— Словно лед на мелях торосит, — вспомнил Степан.

— Верно говоришь, — поддержал Малыгин. — Я ведь, парень, тоже на промыслах бывал, знаю.

— А в ямщики как попал? — заинтересовался Степан.

— Марфутка все. Присох возле нее. А сказать правду — хороша девка, — воодушевился Петр.

— Слыхали, — недовольно отмахнулся Степан, — рассказывал, брат. Смотри, смотри!

С берега на бревенчатый холм, содрогавшийся от напора воды, бросились два заторщика.

С замиранием сердца следили мореходы за смельчаками. На берегах стихли крики и ругань. Только река шумно билась о камни.

Мужики осторожно двигались по скользким бревнам, ловко сталкивали баграми мокрые стволы. Одно за другим бревна скатывались вниз и уносились течением. Холм быстро таял. Умелые руки людей разламывали затор.

— Не приведи господи им ошибиться, — почему-то шепотом сказал Малыгин. — Рухнут ежели бревна — тогда аминь. В клочья людей раздерет.

Вдруг один из заторщиков поскользнулся. Шатаясь, балансируя, он пытался удержаться на скользком бревне. Словно ветер в дубраве, пронесся вздох толпившихся на берегу людей.

Но мужику пришел на помощь товарищ, протянув свой багор.

На пороге торчало всего несколько бревен. Наступал самый опасный момент. Люди на берегу с напряженным вниманием следили за каждым движением заторщиков.

И вот остались два бревна, на каждом стоял заторщик. Сильными движениями мужики воткнули багры в скользкие бревна.

Стволы зашевелились, сдвинулись с места. Стоя, держась за багры, заторщики стремительно пронесли на бревнах через порог.

Тишину расколол радостный вопль, полетели вверх шапки. Люди на берегу неистовствовали, приветствуя отчаянных смельчаков.

— Эх! — вырвалось у Степана. — Молодцы, ничего не скажешь. А ведь со смертью рядом были. Пожалела, курносая...

В Каргополе мореходы не отдыхали. Сухопутьем до монастыря было недалеко, и, посоветовавшись с товарищами, Шарапов решил идти дальше пешком. Для удобства все лишнее оставили у земляка-мезенца, державшего в городке соляную торговлю, и с пищалями за плечами отправились в путь.

Дорога шла густым хвойным лесом. Дичи и зверя вокруг было много, а людей не встречали. Друзья били глухарей и тетеревов и, останавливаясь на ночлег, не ложились спать, не наевшись досыта вкусной дичинки.

Только однажды на пути друзьям встретила небольшая деревенька.

Было раннее утро. Степан Шарапов, идущий впереди, остановился.

— Петряй, — позвал он Малыгина, — смотри-ка, что там: будто бабы в одном исподнем пляшут. — И он показал на пригорок, видневшийся между деревьями.

— По пригорку, освещенному первыми лучами солнца, двигалось странное шествие: впереди, запряженная в соху, шла совсем голая седая старуха. За ней несколько баб с распущенными волосами, в одних рубахах скакали на помельях, визжали, били в медные сковороды. Позади шли женщины, размахивая кочергами, косами и ухватами.

Малыгин сразу понял, в чем дело.

— Опахивают бабы, лихость коровью унимают. Видать, скот у них мрет. Стой, ребята, — обратился он к товарищам. — Не мешай колдовать.

Мореходы сбились в кучу возле Малыгина, с любопытством глаза на языческий обряд, не забытый в глухомани на Севере.

— А мужики все от мада до велика по дворам закрылись. Убьют бабы, ежели встретят, — объяснял Малыгин. — Смотри, ребята, старуха-то, что в сохе идет, — повещалка, заглавная у них; она и борозду проводит... Не дай бог, ежели бабам что живое на пути встретится, — вилами заколют, косами порежут... Три раза женки должны сохой вокруг села обойти — борозду провести. Борозда коровью смерть в село не пустит.

И вдруг чистый звонкий голос начал песню. Сотни голосов подхватили ее:

От океана моря глубокого,

От лукоморья ли зеленого

Выходили двенадцать дев.

Шли путем дорогой немалою,

Ко крутым горам, высоким,

Ко трем старцам старым...

Шествие медленно спустилось с пригорка и скрылось с глаз. Но песня продолжала раздаваться:

Ой вы, старцы старые!

Ставьте столбы белодубые,

Стелите скатерти браные,

Точите ножи булатные,

Зажигайте котлы кипучие,

Колите, рубите намертво

Всяк живот поднебесный...

— Заклинают смерть бабы песней, — задумчиво сказал Малыгин, — а как поют — заслушаешься.

Сулят старцы старые

Всему миру животы долгие;

Как на ту ли злую смерть

Кладут старцы старые

Проклятьице великое.

Строят старцы старые

Вековечну жизнь

На весь род человек.

Песня закончилась. Подождав, пока бабы разошлись по избам, друзья двинулись в путь. В деревеньке решили не останавливаться и снова углубились в лесную чащу. На третий день пути стали встречаться пожни с многочисленными стогами сена, обширные гари, засеянные ячменем и рожью. Изредка позванивали бубенцами пасущиеся в лесу лошади.

— Колокол! — остановившись, сказал Малыгин. — Слышь, гудет, словно бы на пожар.

Чем ближе подходили друзья к монастырю, тем явственней слышались частые тревожные удары колокола. Теперь сомнения не было — в монастыре били в набат. Степана и его

товарищей охватило волнение.

— Поспешим, ребята, — с тревогой сказал Шарапов, — пожар, монастырь горит.

— Дыма не видать, — прибавив шагу, ответил Малыгин, — а без дыму огня не бывает. Сейчас на опушку выйдем, а там и монастырь близко, рукой подать. Места тут знакомые, не однажды бывать приходилось.

Шарапов обернулся.

— Что ж так разохотился, — с усмешкой сказал он, — али в привычку вошел по монастырям-то ходить?

— И в привычку вошел и усердие имею.

— Ну-к что ж. — Степан только крякнул и покачал головой.

— У хозяина моего, — продолжал Петр, — у купца Окладникова, жена в здешнем монастыре захоронена, так он сюда каждый год тройку гонял, а я кучером... Купец в монастыре с игуменом, а я в деревеньку к веселой вдовице на печку.

Друзья дружно захохотали.

— А вот и дом божий, — сказал Петр, показывая на строения, видневшиеся между стволами поредевшего леса.

На небольшом холме, густо поросшем кустарником, виднелись многочисленные постройки, опоясанные высокой каменной стеной. Монастырь был богатый: тысячи приписных крестьян трудились на обширных угодьях, набивая монастырскую казну.

— Гляди, ребята, — остановился Петр, — народу-то сколь под стенами — тьма! Будто и праздника нет, а вот...

Звон набатного колокола внезапно стих. До слуха товарищей донесся неясный гул толпы. Снова тревожно забухал колокол.

У закрытых монастырских ворот скопилась большая толпа. Десятка два мужиков непрерывно двигались, то отступая от ворот, то вновь наступая. Мореходы услышали глухой удар... еще один, еще...

Степан изменился в лице.

— Хрестьяне поднялись, — сняв шапку, сказал он, — невтерпеж стало. Недаром люди говорят: у здешних мужиков «тело государево, душа божья, а спина монастырская». Пойдем узнаем!

Друзья, охваченные волнующим чувством, бросились к крестьянскому лагерю, раскинувшемуся вокруг монастыря.

Со всех сторон торчали поднятые кверху оглобли. Привязанные у телег лошади жевали свежескошенную траву. Горели костры, дымилась котлы с варевом. Кое-где на возах сидели бабы с грудными детьми...

Под навесом, сбитым на скорую руку, два кузнеца стучали, выковывая железные наконечники для пик. У кузни десятка два мужиков с длинными шестами ожидали очереди. Тут же, весело перекликаясь, шныряли беспорточные, босые ребяташки.

В стороне хмуро глядело большое кладбище, густо утыканное крестами.

Чумазый парень, битый оспой, усердно раздувал мехи; из горна сыпались искры.

— Вам что, ребята? — неласково спросил худой хмурый мужик с рогатиной в руках. Он шагнул навстречу Степану, заступая дорогу.

От костров поднялись еще несколько мужиков, вооруженных вилами и рогатинами.

Степан оглянулся: вокруг худые угрюмые лица, горящие ненавистью глаза. Рваная, в разноцветных заплатках одежда едва держится на плечах. Многие босиком, многие в лаптях и в каких-то опорках.

«Ну и ну, — подумал он, — наши поморяне трудно живут, слов нет. Однако против здешних куда лучше».

— Мы из города в монастырь пробираемся... да, вишь, здесь какие дела, — почесывая затылок, выступил Петр, — монастырь в разор пустить хотите. За такое поношение матушка Лизавета во как вас отблагодарит... Бога побойтесь, мужики.

— На што нам монастырь, — ответил хмурый мужик, — супротив злодеев идем. Сил-терпенья не стало. — Он сердито сплюнул сквозь зубы. — Кричали, выдать отца Феодора да Игнашку горбатого, собак этих. Да куда там! Закрылись монахи за стенами...

— В чем вина ихняя, мужики? — спросил Степан.

— Кровопийцы — одно слово, — раздался чей-то густой голос, — хуже татей.

— Хлебушка-то сколь годов не видывали?! Ячмень на заправку ежели, а то кора да солома, — поддержали в толпе.

— Последний кус изо рта тянут!

— Пареная репа да грибы — вот и весь харч!

— Разутые мы, раздетые, зиму встретить не в чем!

— Без смерти смерть нам!

— Детушки мрут, — раздавалось со всех сторон, — ни молочка, ни хлебушка!

— Да вот, добрый человек, возьми в понятие, — выступил вперед широкоплечий мужик в рваном зипуне, — самим жрать нечего, а хлеб в монастырь отдай. И все им, дармоедам, мало... Еще и деньги неси, а где их взять, деньги-то? — Мужик посмотрел на товарищей. Строго глядят его глубоко запавшие глаза. — Так говорю, хрестьяне?

— Правильно, Флегонт, валяй дальше, золотые слова говоришь, — согласилась толпа. — Дальше валяй!

— Решили мы всем миром, — снова начал мужик, — матушке царице челом бить на злодеев. Жалобу в Питер послали. Этим летом слых пошел, будто царица в монастырь отписала. Мы к монахам, так и так, дескать, почему царскую милость от хрестьян сокрыли. Вертят отцы святые хвостами: и видом, дескать, не видали и слыхом не слыхали... А потом отец Феодор к себе мужиков обманом зазвал. Злодей он нам. Эх, — погрозил он кулаком монастырю, — есть и на моей бирке твой рез, отец Феодор, соком тебе выйдут наши слезы-воздыханья, разочтемся, бог даст... Яков Рябой с мужиками пошел, один он у нас грамотей, да с ним товарищев с десятка два. Думали, царскую милость монахи объявят. Дак отец Феодор им по сто плетей всыпал да еще всех хрестьян перепороть посулился. Осьмнадцать мужиков в яму на чепь посадил, по сей день томятся. И Яков Рябой тама, — добавил он, сожалея.

— За что же плетьюми? — возмутился Степан.

— За упрямство да за противность святым отцам. Вот таперя и делай что хошь. Ежели в этом году хлеб отдадим — самим помирать. И решили миром: ни хлеба, ни паче денег в монастырь не давать... Товарищев, кои на чепь посажены, ослобонить, а Феодора да Игнатия — своим судом... — Флегонт ухватил себя за шею. (Мужики отозвались глухим ропотом.) — Все равно жизни нет, — закончил он и махнул рукой.

— Нашим девкам да бабам от их дьяволов лихость, — вступил в разговор парень в темной от пота, заплатанной рубахе.

Мужики мотали бородами, ахали и ругались.

— Не понять мне, — сказал чтивший веру Степан, — монастырь ваш святостью по всему Поморью славен.

— В досельные времена святость была, то верно, — выступил вперед иссохший седой мужик. — Ране бывало тако, труждалася братия: одни копали землю, секли лес, другие возделывали нивы, а теперя монахи на нашей шее норовят ехать. Оттого лают их мужики и бить похотели... Скорбно место сие.

Мужик, словно испугавшись своих слов, спрятался за спину товарищей.

— А игумен? — опять спросил Шарапов. — Неужто и он?

— На игумена обиды нет, — снова показался седой мужик, — святой человек, худого слова не скажешь... Однако оттого нам не легче. Ушел от мирских дел отец Варсонофий.

— Из пушек палят, — пожаловался другой мужик. — Так теперь, — добавил он, распаясь и страшно вращая глазами, — мы ворота ломать хотим.

Мужики у стены, видимо, отдохнув, снова принялись долбить бревном по воротам. Но ворота были крепкие, и бревно, словно перышко, отскакивало от толстых дубовых досок.

Со стены рывкнула пушка, осыпав картечью мужиков. Толпа отхлынула. Истошный вопль заставил вздрогнуть Степана: он увидел трех раненых мужиков, валявшихся на земле.

— Крестьяне, помогите! — вопил один из них, придерживая руками вывалившиеся внутренности. — Миленькие, погибаю...

Он катался по земле, оставляя кровавый след. Страшно завывали бабы, бросившись к раненым. Монахи на стене у пушки что-то кричали и грозили кулаками.

Петряй Малыгин встrepенулcя и сжал кулаки.

— Други, ежели вы взаправду решили гадов монастырских казнить, а своих мужиков из беды вызволить, вот вам моя рука — помогу!

Лица мужиков сделались по приветливей. Кое-кто неуклюже пожал протянутую Петром руку.

— Ну-к что ж, кусаются божьи пчелки. Бородки-то у них апостольские, да усок, видать, дьявольский. Недаром сказывают, что и черти под старость в монахи идут, — гневно проговорил Степан. — Таких собак покороче привязывать надо... — Он сорвал с плеча пищаль, насыпал порошу на запал. — Никогда по людям не стрелял, а здесь не могу, душа горит.

— Пстой, Степан, — положил на пищаль руку Петр, — не стреляй. А вам, крестьяне, ворота

ломать не надо. Ежели сломаете, монахи облыжно скажут: весь-де монастырь по бревнам разнесли. Тогда и ответу больше, за разбой искать будут. Вот ежели монахи сами ворота откроют...

— Тому не быть, чтобы монахи сами...

— Да уж откроют, ежели я сказал... Однако, мужики, уговор, — продолжал ямщик, — коли я за дело возьмусь, не мешать.

— Пошто мешать, ежели дело, — раздались дружные голоса, — мешать не будем.

— И ворота монахи откроют?

— Об этом и речь. А пока погодить бы надо ворота крушить, все равно без пользы.

— Один монахов не осилишь. Ишь ведь, врет человек, — с сомнением сказал кто-то.

— Один и у каши загинет!

— На гору десятеро тянут, вытянуть не могут, а под гору и один столкнет! — пошутил Малыгин. Мужики засмеялись.

— Так-то оно так, — вступился Флегонт. — Однако зачем мы тебе верить должны, милый человек? А пословка у нас своя есть: «Чужую беду и с хлебом съешь, а своя и с калачом в горле нейдет». Так-то!

— Правда твоя, Флегонт, пощупать надо, что за люди, — раздался чей-то угрожающий голос.

— Вот что, мужики, со всеми враз говорить — не договориться. Зовите, у кого мозги покрепче — обсудим... А ссориться нам нечего, — миролюбиво предложил Степан. — На пословку, на дурака да на правду суда нет.

— Ладно, маленько пообождите, ребята, — согласился хмурый мужик.

Он толкнул локтем соседа, наклонился и что-то вполголоса сказал. Тот поднялся и тут же скрылся в толпе.

Ждать долго не пришлось. Чернявый, небольшого роста мужичонка отозвал друзей в сторону.

— Сюда, ребята, — раздался бойкий тенорок. — Садись на телегу. Посидим рядом да поговорим ладком. Истинно так. А потом и каши отведаем.

Наблюдавшие издали мужики видели, как Петр Малыгин, размахивая руками, что-то горячо говорил, показывая то на монастырь, то на реку. Чернявый внимательно слушал, смешно причмокивая губами. Время от времени он хлопал себя по коленкам и смеялся.

— Добро, — сказал мужичок, выслушав Петряя, — на том порешим; ежели по-твоему выйдет, всем быть в довольстве. Истинно так! А с Яковом свидитесь, скажите: Фома Гневашев, дескать, послал... А теперя, ребята, доставай ложки.

Мореходы подошли к котлу с дымящимся варевом, мужики потеснились, уступая гостям место.

— Откуда, Петя, про тайник знаешь? — спросил Шарапов, зачерпнув похлебку деревянной ложкой.

— Недаром я с отцом Феодором дружбу водил. Была у старца в деревеньке девка Прасковья — в келью к нему ходила. Оденет черную ряску да тайничком прямо к святому отцу.

— А ты... в чем твоя заслуга?

— А я, бывало, ту девку к нему провожал. Страшилась Прасковья одна ходить. Потому про тайник знаю. Старец-то меня всяко ублажал: и денег даст, и вином угощает... тогда-то и ключ я у него в келье видел. А про тайник только соборные старцы — отцы святые — знают, — добавил Малыгин, — простым монахам неведомо...

Глава семнадцатая

ПАУКИ И МУХИ

Река Безымянка выливается из самой что ни на есть глухомани онежских лесов. Сосны, ели вперемежку с густым березняком, рябиной, осиной и ольшаником образуют непролазную чащу. Шиповник и смородина, малина и можжевельник густо заполняют все тропинки, все полянки.

Кучи валежника, гниющие пни и стволы упавших деревьев на каждом шагу преграждают путь. Угрожающе наклонились, держась на ветвях собратьев, лесные великаны, поваленные ветром. Ноги путника утопают в гнилой, болотистой почве, хлюпают в сырых мхах. Несметными полчищами вьются комары... Топи, болота, озера и речки заполнили онежские леса. Проехать в таких лесах невозможно, пешему пройти трудно.

Озера, постепенно зарастая травами, камышом, водяными лилиями, плавучим рдестом, покрываются толстым, но дырявым ковром, сплетенным из болотных растений. Медленно наращивая толщину, мохнатый ковер превращает озера в зыбучие топи. Дыры в таком ковре, заштопанные зелеными травами и яркими цветами, — колодцы, уходящие в озерную глубину. Горе попавшему в такое болото: редко, очень редко удастся человеку живым унести ноги.

Дремучий лес охраняет от нескромных человеческих глаз раскольничий скит Безымянный, построенный еще в петровские времена.

Одинокий колокол под дощатой крышей звонницы, моленная и два десятка деревянных строений окружены высоким частоколом. Скит строился по-старинному. Жилые дома, сбитые из толстых бревен, стайкой теснятся вокруг церквушки, все окнами внутрь, глухой стеной к забору. Тесовая стена делит скит на женскую и мужскую половины.

Все, в чем нуждалось общежитие — хлеб, кое-какая одежонка, инструмент, — подвозилось зимой по санному пути. Летом в скит люди пробирались по двум тропам, почти неприметным в болотах. Одна из них шла на восток к Данилову монастырю, другая на запад.

Но как найти эти тропы среди трясин и болот, знали немногие.

В глухом скиту спасаются от грехов старообрядцы-беспоповцы: полсотни сестер-инокинь, десятка два белиц да десятка два старцев. Они молятся богу, жгут свечи, кладут большие и малые поклоны и кадят ладаном. Вся черная работа лежит на спинах сотни трудников и трудниц — мужиков и баб, не имеющих иноческого чина.

Работный народ был темный, незнаемый, скрывавшийся в лесах бог весть отчего. В скиту они жили тихо, работали исправно и не выходили из повиновения большаков и большух.

Многие братья и сестры славились божественным письмом; переписывали уставом[13] «Цветники» и «Сборники» и другие старопечатные книги, рисовали финики по бокам рукописей и цветные заставки. Славился скит еще мирским художеством: инокини и белицы множили чертежи морского хождения, что присылал из города знатный выгорецкин мореход Амос Корнилов. Они чертили землицу Грумант, Белое море, остров Колгуев, Печорские берега. Мурманский берег, Матицу.

Казалось, тихо — мирно шла жизнь в далеком раскольничьем скиту. Святая молитва, пост, божественное пение — вот и все, что должно было бы занимать умы иноков и инокинь. Но было не так: дремучие леса, топи и болота не укрыли праведников от мирских пороков. И здесь грозно бушевали человеческие страсти.

В старой пещере, едва на аршин глядевшей из земли, под двумя тяжелыми замками сидел прикованный цепью худой и бледный мужик. Три года назад, как раз в сочельник, его привезли на розвальнях из Данилова монастыря. Старцы шептались между собой, будто приехал он из заморщины, от самого прусского короля. А хотел будто прусский король от раскольников, чтобы признали они государем Ивана Антоновича, того, что заточен императрицей Елизаветой в Холмогорах, когда его, государя Ивана, освободят.

А случилось так.

Выгорецкий киновиарх, услышав крамольные речи посольника, пребывал в большом страхе. Тайно собрались монастырские старцы на собор. Отец Серацион, древний инок, три десятка лет истязавший себя голодом и веригами, звал на крайние меры.

— Гнев и разорение будет на нас! — брызгая слюной, выкрикивал он. — Крамольника сей ночью из монастыря вон... Смерти его предать, пепел по лесам развеять.

Старцы совещались недолго. У всех на уме было одно — избавиться от страшного посланца. Однако смерти предать убоялись.

«Злоковарного мужа из рук не выпускать, — гласил приговор, — обманно увезти в дальний скит, посадить на чепь, держать тайно. Кормить не вдосталь, а буде умрет — похоронить на болоте, не оставя следов».

В скиту Безымянном крепко и грозно держали слово киновиарха. Посадили мужика на хлеб и на воду, горячее давали однажды в неделю. Однако узник, хоть зело удручен был телом, умирать не хотел.

Много слез и страданий, много людского безысходного горя хоронили от посторонних глаз крепкие стены скита. Непокорливых духом морили голодом и поклонами, сажали в темные сырые чуланы, ставили голыми коленями на острые кремневые камни, секли до полусмерти розгами... Но для избранных в скиту жилось привольно и сытно. В этом-то дальнем общежительстве Аграфена Лопатина оставила свою дочку.

В первые дни Наташа словно потеряла себя. Обман любимой матери все спутал в ее голове. Жизнь казалась ненужной и тягостной — впору было наложить на себя руки. Только боязнь страшного греха не дала ей покончить свои счета с жизнью.

Потянулись дни, словно близнецы похожие один на другой. Покаянные молитвы с поклонами, заунывное пение в молельне, скудные трапезы, нудный труд, беседы стариц о спасении души — вот все, чем могла развлекаться Наташа. Только во сне, свидясь с любимым, забывала она свои горести.

«Помнит ли Ваня меня? — думала она, просыпаясь и вспоминая сон. — Почему не пришлет весточку? Нет, забыл, не помнит».

И снова начинался день — серый, неприветливый. Словно вовсе и не жила на свете Наташенька, а покоилась в холодной сырой могиле.

Не однажды непокорную звала к себе начальная матка Таифа.[14] Старица издали заводила речь о сватовстве купца Окладникова, об истинной древней вере, о проклятом табашнике Ваньке Химкове. В последний раз Наташа не выдержала.

— Матушка, — сказала она, дрожа от гнева, — не хочу ваших скаредных речей слушать. Что хотите делайте, а над душой моей вы не властны. Неволить будете — удавлюсь.

— Ой, берегись, девка! — грозно прикрикнула мать Таифа. — Забыла, что в скиту живешь?! Ежели так — розгалею попробуешь, горячих всыплю!

— Удавлюсь, — повторила Наталья, протянув дрожащую руку к старинной иконе пресвятой богоматери, — ей говорю. Пытливо взглянув на девушку, игуменья задумалась.

— Иди с богом, — наконец сказала она, махнув рукой.

И больше мать Таифа Наталью не призывала.

Наташа ушла в себя, затаилась, притихла. В свободное время она любила одна сидеть в своей горенке. Унылым, неподвижным взором часами глядела девушка в окно на дремучие леса, плотной стеной обступившие скит.

— Смирилась девка, — донесла старица Анафролия игуменья. — Не узнать. Речьюми тиха, послушлива. А была — огонь огнем.

— Не тревожьте ее, — равнодушно зевая и крестя рот, ответила Таифа, — пусть живет как знает. Непонятна она, крученая, прости господи. Уж чего лучше в скиту жить! — добавила старуха. — Знай молись да душеньку спасай.

За Наташей перестали следить. Она будто утешилась, внешне казалась спокойной. Но в душе ее все больше крепла решимость сдержать слово, данное жениху.

— Нет, не забыл меня Ваня, — повторяла девушка, — не забыл, не может он забыть.

Ни мгновения не переставала Наташа думать о своем миле.

Короткое северное лето кончилось. Дни еще стояли теплые, солнечные, зато ночи холодные и сырые. Желтели и падали листья.

В скиту торопливо готовились к зиме. Трудники возили с пожней душистое сено, ссыпали в закрома ячмень и жито. Один за одним подъезжали к воротам возы с сеном. У забора громоздились поленницы березовых дров. В ушах стоял неумолчный визг звонких пил, на многих козлах бабы пилили толстые поленья, мужики с уханьем тюкали топорами.

Отложив все работы, белицы под присмотром инокинь ходили в лес по грибы и ягоды. Старцы ловили в озере рыбу и заготавливали ее впрок.

Еще прошел день. Солнышко близилось к закату. В скотный двор пастухи пригнали стадо. Коровы шли медленно, отяжелевшие на тучном пастбище. Вернулись из леса девушки-белицы, возбужденные, проголодавшиеся. За плечами у каждой крошн[15] с грибами и ягодами. Словно шумливая стайка воробышков, разлетелись по горницам умыться и переодеться к трапезе.

Наталья любила по вечерам заглядывать на скотный двор — там было все знакомо и просто. Коровы гулко топтались в стойлах и хрустели сеном. Пахло навозом и парным молоком. Так и

сегодня, потрапезовав, она пробралась в хлев.

— Прасковьюшка, — тихо позвала девушка.

— Здесь я, — откликнулся звонкий девичий голос. Сирота Прасковья Хомякова попала в скит обманом, как и Наташа, по злому умыслу своего дяди. Задумав отобрать наследство у сироты, дядя-опекун подкупил игуменью, взяв с нее обещание навсегда оставить в скиту Прасковью. Девушку держали в черном теле, морили голодом, ставили на самые тяжелые работы, стараясь сделать ее жизнь невыносимой. Каждодневно большуха изводила ее разговорами об иночестве, расхваливая чистоту святой жизни. Но Прасковья не поддавалась. На все увещевания она либо молчала, склонив голову, либо упрямо отвечала отказом. Многие тысячи покаянных поклонов отбила девушка, неделями не выходила из темного чулана.

Но Прасковья Хомякова на редкость крепкая и здоровая девушка. Высокая, краснолицая, с необъятной грудью и широкой спиной, она играючи управлялась с тяжелой работой и легко переносила все лишения.

— Славно в лесу было? — спросила Прасковья, разгребая вилами навоз.

— Хорошо, Прасковьюшка, а сколь грибов, ягод!.. Ну, а ты как? — осеклась Наталья, заметив грусть на лице подружки.

— Тяжко, Наташа, ой как тяжко, — жаловалась девушка. — Всю душу вымотали чертовы угодницы... Сбегу, как бог свят, сбегу. — Губы у нее чуть заметно вздрагивали, словно вот-вот заплачет. — Седни, — вдруг вспомнив, встрепелась она, — иду я у хлева задами, там погреб пристроен. Живет в погребе мужик, головою скорбен.

— Знаю, — наклонила голову Наталья, — двумя замками закрыт, в окне решетка... Давай, Прасковьюшка на сеновал залезем.

Девушки забрались наверх, на свежее душистое сено.

— Иду я, — продолжала Прасковья, — слышу, будто плачет кто-то, да так жалобно, славно младенец. Подошла я к оконцу, гляжу, мужик. Лицо бледнехонько, зарос волосьем, словно леший, глаза, как у волка, горят... Встала я как вкопанная, ногой двинуть не могу, не могу глаз от него отвести. А он молвит: «Не бойся, подойди, девонька! Безвинен, пожалей... выслушай...» Тут я опомнилась да как брошусь в бег. Посейчас вспомнить страшно.

Наталья задумалась: ее взволновал рассказ подружки.

— А что, Прасковьюшка, — накручивая на палец сухую травинку, сказала она, — может, и правда вины на нем нет? Матери да отцы святые куда как хитры. Божье у них на языке только, а на уме... мирское да скромное. Послушать бы тебе мужика... — Голос у нее оборвался.

— Страшный он.

— От жизни анафемской страшен. Пойдем, Прасковьюшка, — вдруг решила Наталья, — пойдем к нему.

— Боязно мне, узнает большуха — оцетинится, тогда...

— Ништо. Молчи да ухо остро держи. Подружки сползли в хлев и, таясь, стали пробираться к клетушке узника.

— Девоньки, — услышали они, приблизясь к пещере, тихий умоляющий голос. Сквозь

железные прутья решетки на них глядело страшное волосатое лицо. — Подойдите к окну, девоньки, продолжал умолять узник. — Здоров я, умом светел. Безвинно сижу. Старцы ради корысти своей заточили.

Наталья смело подошла к окошку.

Три года сижу, помощи бежать. Нет больше моего терпенья, спаси. — Мужик заплакал.

— Как я спасу тебя, сама в скиту поневоле. — В голосе девушки прозвучало отчаяние.

— Напилок бы, девонька, чепи, решетку распилю, тогда никто не удержит. Дорога мне ведома, в лесах жизнь прожил.

Наталью вдруг осенила мысль. Она приблизила свое лицо вплотную к решетке.

— Я достану напилек. Вместе бежим. Давно сама собираюсь, да боюсь в болоте сгнубуть. Согласен? — Она заглянула прямо в глаза узнику.

Глаза мужика зажглись надеждой.

— Бежим, девонька, родная... — Слова перешли в бессвязный шепот, снова раздались всхлипывания.

На мостках слышались чьи-то шаги. Девушки прынули от погреба и мгновенно скрылись. Назавтра Наталья раскопала в чулане, где хранился кузнечный инструмент, три напилка и в тот же день передала мужику.

Через неделю, как было условлено, Наташа снова подошла к окошку.

— Готово, девонька, — радостно сказал узник. — И чепь и решетка порушил. Завтра уйдем в полночь.

Глава восемнадцатая

ЧУЖИЕ ПАРУСА

В капитанской каюте царил полумрак. Слабый свет, пробиваясь сквозь бархатные занавески окон, тускло отсвечивал на стенах полированного красного дерева. Оставленная открытой дверца настенного шкафчика назойливо скрипела, поворачиваясь в такт покачиванию брига. Недопитая бутылка рома и круглый тяжелый стакан с шумом катались по каюте.

Из угла, где виднелась койка, полузакрытая зелеными шторками, раздавался протяжный громкий храп. Томас Браун спал не раздеваясь. Его грузное тело шевелилось, сползая то в одну, то в другую сторону.

Снаружи слышался шум. В каюту глухо донеслись слова команды. По палубе затопали тяжелые башмаки. Бриг, вздрогнув, стал валиться на борт.

Караул! Грабят! Черная падаль! Негры! — раздался пронзительный крик.

Шкипер вздрогнул и заворочался. Очнувшись, он свесил с койки толстые короткие ноги. Воспаленными глазами бессмысленно уставился на большую карту западного берега Африки, висевшую напротив. Потом его взгляд упал на модель небольшого старинного судна, потом на дверь... Браун не мог понять, почему он проснулся.

— Черная падаль! Негры! — повторил тот же голос.

— Проклятая птица, — произнес капитан. Теперь он окончательно пришел в себя и, зевая, потирал заплывшие глаза.

— Черная падаль! Деньги! Негры! — продолжал выкрикивать зеленый попугай, висевший под потолком в большой позолоченной клетке.

— Замолчи, Марго! Вот глупая птица! — заорал Браун.

Но в его грубом голосе слышались нежные нотки. Попугай плавал с Брауном скоро тридцать лет и был единственным живым существом, к которому привязался старый шкипер.

В дверь постучали. Стук повторился; видимо, стучавший хотел доложить о чем-то важном: на корабле Томаса Брауна не было в обычае беспокоить капитана по пустякам. Из глотки шкипера вырвался сердитый звук, который с трудом можно было принять за разрешение войти... В дверях показалась встревоженная физиономия штурмана Вилли.

— Простите, сэр! На горизонте паруса. Я повернул навстречу судну. Русское судно, сэр! Идет курсом на Землю Короля Якова. Как прикажете поступить дальше, сэр?

Штурману Вилли долго пришлось ждать ответа.

Старый Браун не раз участвовал в морских сражениях. Много кораблей разных наций потопил он на своем веку, еще больше загубил человеческих жизней... Но сейчас он чувствовал себя беспокойно. Если раньше он видел в противнике прямого соперника в погоне за наживой, то теперь было не так. Браун не собирался соперничать в морских промыслах с русскими мореходами.

подавив внезапно обуявшую его робость, он сполз с койки, натянул ботфорты и, напялив на голову помятую шляпу, вышел на палубу. Молча взял из рук штурмана длинную подзорную трубу и долго водил по горизонту, стараясь трясущимися руками направить ее на замеченный парус.

— Да, парус. Это русская лодья. Проклятье, я вижу еще парус... второй... третий... Да тут целый флот!

Вся команда брига вылезла на палубу. Вид у матросов был необычный. Одеты все были по-разному, кое-как — рваные и грязные. Многие из них были по-бабьи повязаны платками. Матросы брига «Два ангела» были самыми настоящими пиратами — охотниками за рабами. Матросы с любопытством наблюдали за парусами, появившимися на горизонте.

Шкипер с презрением взглянул на свою команду.

— Джентльмены! — сказал он. — Десять гиней получит каждый из вас за потопленное русское судно. Половина груза — ваша добыча... Русские суда не вооружены. Это жалкие посудины, идущие на промысел морского зверя.

Лодьи приближались. Попутный свежий ветерок надувал поморские паруса. Лодьи шли, переваливаясь с волны на волну, разбивая гребни своим крепким носом.

— Сэр, я насчитал уже двадцать судов! — перебил штурман Вилли. — Какие приказания, сэр?

— Приказания... — захрипел шкипер. — Пусть они пройдут подальше, за всеми не угонишься. Но последнее судно будет нашей добычей. Для него мы устроим маленький маскарад. Хе-хе-хе, рыбка клюнет на приманку. Хе-хе-хе!

Русские суда одно за другим прошли мимо брига и стали скрываться из виду. Осталось одно запоздавшее. Его-то и наметил Браун своей жертвой.

— С палубы все долой, — снова раздался его голос, — наверху остаться только двоим, будете просить у русских хлеба. Эй, Джим! Остайся и ты, Майкл! Сделайте рожи попостнее, будто давно не жрали, — командовал шкипер, продолжая рассматривать в трубу русскую лодью. — Боцман, будь с ребятами наготове. По сигналу — наверх!

— Эге-ге, на мачтах золоченые кресты, — ухмыляясь, сказал он, опустив трубу, — удача. За этот корабль мы получим двойную цену. Стоит постараться, Вилли, — обернулся он к своему помощнику.

С этими словами Браун стал размахивать большой белой тряпкой.

Лодья «Святой Варлаам» старалась догнать остальные русские суда, ушедшие далеко вперед. Не потому отстал «Святой Варлаам», что был тихоходней других, нет, он мог поспорить в скорости со многими судами в Архангельске. Лодью задержал случай. Любимец команды, пес Дружок, резвясь на палубе, свалился за борт. Исчезновение корабельного пса было замечено не сразу, и когда кормщик Иван Химков вышел на палубу, жалобный лай собачонки был едва слышен где-то далеко в волнах. Пока возились с парусом, пока спустили карбас, пока он добрался до собачонки и вернулся обратно к судну, прошло немало времени. Лодьи ушли далеко вперед.

Обласкав перепуганную, дрожащую собачонку, Химков осматривал горизонт. Лодейных парусов он уже не увидел, зато немного к югу показалось незнакомое судно.

— Смотри, Егорий, чьи паруса, не признаешь? — показывал кормщик на далекое судно.

— Чужие паруса, Иван Алексеевич, — ответил носошник, — заморское судно. — Он помолчал, всматриваясь в приближающийся корабль. — К нам повернул. С чего бы?

Прошло немного времени. Корабль быстро приближался.

— Иван Алексеевич, да ведь это аглицкий корабль, в Архангельске стоял, — признал Ченцов. — Корпус зеленью покрыт... две мачты... Он и есть... Шкипер с него все дни пьяный ходил.

Несколько минут все молча рассматривали подходящий бриг. Вдруг Ченцов удивленно вскрикнул:

— Галанский флаг, смотри, Иван Алексеевич! Ведь сам видел, аглицкий флаг был. С командой говорил — англичане все... Смотри, Лексеич, смотри, машут белым — видно, помощи просят.

— Твоя правда, Егор Петрович. Раз просят, надо помочь. Ребята, роняй паруса! — крикнул промышленникам Химков и налег грудью на румпель, поворачивая лодью навстречу иноземному судну.

— Иван Алексеевич, — обратился подкормщик. — Прикажи ребятам карбас готовить. А еще дозвожь, Иван Алексеевич, Федюшку, внучка моего, на карбас, — спросил старик у кормщика, — пусть привыкает, впервой на море-то... в охоту ему.

— Пусть идет малец, — кивнул головой кормщик. — Посмотрим, каков моряк в деле.

— Федюшка, слазь быстрей! — крикнул Ченцов сидящему на рее мальчугану.

Рыжий веснушчатый Федька, мальчуган лет десяти, узнав, что идет на карбасе, раскраснелся от радости и побежал помогать мореходам.

— Ну, Егор Петрович, — сказал кормщик, — тебе ехать, ты по-аглички понять и обсказать умеешь...

С брига хорошо был виден народ, появившийся на палубе лоды; кто-то ответил, замахал руками — видно, сигнал бедствия был замечен. Нос русского судна стал поворачивать к бригу. На палубу упали паруса передней и задней мачты. Несколько человек спускали карбас. Слышны были веселые голоса дружно работающих людей.

Браун, не переставая, размахивал тряпкой, выкрикивал по-русски:

— Вода нету, хлеб нету!

С брига видели, как в прыгающий на зыби карбас погрузили бочку и несколько больших мешков, спрыгнули люди в высоких сапогах, вязаных фуфайках, и карбас под дружными ударами четырех пар весел птицей полетел к бригу.

Браун бросил тряпку и обернулся.

— Вилли, — тихо сказал он, — приготовь пушки с левого борта, заряди картечью... Эй, на руле! Держать на судно!..

Карбас подошел к бригу. Молодой белобрысый парень с курчавой бородкой ловко взобрался на борт и быстро привязал карбас за стойку на палубе. Браун невольно залюбовался его ловкими движениями. Вслед за первым помором стали взбираться и остальные. Они вытащили мешки с хлебом и объемистый бочонок с водой.

Ченцов, седой старик с открытым добродушным лицом, подошел к Брауну.

— Что с вами, капитан? — обратился он к шкиперу, медленно подбирая английские слова. — У вас не хватило запасов? Но я видел совсем недавно ваше судно в Архангельске. Да, бриг «Два ангела», зеленый корпус... Мы доставили вам хлеб и воду.

Браун был так ошеломлен английской речью, что в первую минуту потерялся.

— Спасибо, сэръ! Да, мне необходимы припасы, — неожиданно для самого себя ответил он. Но в то же мгновение глаза его злобно сверкнули. — Куда идет ваше судно?

— На Грумант, капитан.

— Оно не дойдет до Груманта! — Браун с ругательством выхватил из-за пояса пистолет и в упор выстрелил в русского морехода. — Сигнал, Вилли! — заревел он.

Раздался удар в гонг. Из кубрика на палубу выскочили вооруженные головорезы и бросились на поморов. Произошел неравный бой. Мореходы, выхватив ножи, яростно сопротивлялись. Но что могли сделать поморские ножи против огнестрельного оружия? Пираты попросту расстреляли русских из мушкетов.

Зук Федюшка, стоявший рядом с дедом, как кошка, бросился на шкипера, но второй выстрел Томаса Брауна размозжил мальчику голову.

Бриг в это время был совсем близко от лоды «Святой Варлаам». Примерившись глазом, шкипер рявкнул:

— Картечью по судну! Сбивай паруса! Грянули выстрелы. Картечь свалила трех из оставшихся на судне мореходов. С брига «Два ангела» на лодью разом прыгнуло несколько матросов. Одного из них огромный помор разрубил почти пополам ударом топора. Другой матрос упал, сраженный поморской спицей. Еще двух зверобои уложили выстрелами из

пищалей. На этом сражение кончилось.

Как вороны, слетелись пираты на палубу лодьи и мигом обшарили все судно. Груз оказался небогатый. Это был запас харчей на долгую зимовку и промысловое снаряжение. Разбойники не брезговали ничем. Нагруженный добычей бриг медленно отошел от лодьи. А на поморское судно матросы привезли большой бочонок пороху, с хохотом подожгли фитиль и бросились наутек, бешено загребая веслами. Громыхнул взрыв; с хрустом ломая палубу, свалилась грот-мачта, лодья накренилась и села на корму.

— Плохо положили порох, сволочи, — ругался шкипер, — такая огромная бочка, а судно не тонет. Дьявол его раздери! Порох подмочили, сукины дети!

— Бочку в надежном месте положили, сэр! — ответил боцман. — Порох сухой, это русское судно оказалось очень крепким, сэр!

— Проклятье, — рассвирепел еще больше Браун, — хорошее английское судно потонет и от половины этой порции пороху. Эй, Вилли, прошей ему борт ядром! Потяжелее!

Грянул выстрел, еще один... На борту «Святого Варлаама» зияли дыры, но он не хотел тонуть.

— Вот вам путь на Грумант! — хрипел Томас Браун. — Довольно, Вилли, слишком много пороху на одно судно. Эй, там, — крикнул он в рупор, — прибавить парусов! На руле — два румба вправо!

Почти тотчас раздался свист дудки и рев боцмана:

— Пошел все наверх прибавлять парусов! Матросы бросились по своим местам. Заскрипели блоки, захлопали паруса.

Нос брига послушно покатился вправо. Томас Браун долго стоял на шканцах и грозно хмурил брови.

Многое казалось ему непонятным: русские моряки отчаянно защищались, никто не просил пощады, не сдался в плен. Русский корабль и тот не хотел тонуть, несмотря на все усилия шкипера. Даже мальчишка бросился на него. Шкипер запомнил его глаза — гневные, отчаянные...

«Если бы я не разmozжил ему череп, он, как бульдог, вцепился бы в меня», — оправдывался перед собой пират, невольно вспоминая рыжие вихры и две крупные слезинки, застывшие в уголках детских глаз.

— Когда будем хоронить убитых, сэр? — прервал размышления Брауна подошедший боцман. — Все готово, трупы зашиты в парусину, груз привязан, доска у борта, сэр!

— Что, хоронить? Кого? — не понял сразу шкипер, но тут же спохватился: — Сколько их, Чарлз?

— Четверо, сэр! Пятый скоро отдаст богу душу, сэр!

— Зови людей на похороны, нечего держать падаль на судне.

Через пять минут Браун появился на палубе с молитвенником в руках.

На широкой длинной доске, лежащей одним концом на фальшборте, белела фигура, зашитая в саван. К ногам был привязан груз — тяжелое чугунное ядро. Вокруг молчаливо толпилась вся команда брига.

Подойдя к мертвому, Томас Браун открыл молитвенник и пробормотал что-то невнятное.

— Да успокоит бог его грешную душу, — громко закончил он короткую панихиду.

Двое матросов приподняли доску за один край, и зашитое в парусину тело, скользнув по гладкой доске, шлепнулось в воду... Четыре раза бормотал Браун молитвы, четыре раза падали мертвые тела в море.

Закончив, шкипер сунул молитвенник под мышку и важно удалился в свою каюту. Подавленные мрачным зрелищем, не проронив ни единого слова, ушли матросы в кубрик.

Закрыв за собой дверь, шкипер тут же хлебнул спиртного.

«Четверо убитых, — появились в голове обидные мысли. — Это слишком много для безоружного русского судна». Томас Браун в ярости стал ходить по каюте.

— Проклятый Бак, — припомнил он разговор в Архангельске. — «Вы возьмете их голыми руками», — насмешливо повторил шкипер слова английского купца. — Дьявол тебя раздери, попробовал бы сам брать их голыми руками...

— Черная падаль! Негры! — слышалось из клетки.

— Молчать! — замахнулся на попугая Браун.

Грозен был хозяйский голос, птица замолкла и, нахохлившись, уселась на жердочке.

Томас Браун тяжело опустился в кресло и задымил трубкой. Понемногу он стал успокаиваться.

«В конце концов, — рассуждал он, — я ничего не потерял. Убитые матросы мне не стоят ни пенса. Пусть они сами заботятся о своих шкурах... В первом порту я найду новых. Зато больше золотых гиней сохранится в моем кармане».

Двое суток крейсировал бриг по просторам Студеного моря. Томас Браун не выходил на палубу. Уединившись в каюте, он валялся пьяный на койке или, вынув из тайника заветную шкатулку, долго звенел золотыми монетами.

Но вот погода изменилась.

Ухо старого шкипера стало улавливать тревожные звуки, доносящиеся снаружи. Явственно был слышен свист ветра, усилилось скрипение мачт, то и дело раздавались всплески воды, падающей на палубу. Качка заметно усилилась. Мощный удар волны потряс корпус брига. Бурными потоками зашумела вода. Томас Браун вскочил на ноги. Чтобы удержать равновесие, ему пришлось схватиться за круглый столик, привинченный к полу.

— Проклятье! — выругался Браун. — Ну и погодка в этом море! — Он открыл дверь и, пошатываясь, вышел на палубу.

Студеное море вздыбилось. Грозные седые волны с шумом наступали на бриг, захлестывая палубу. Порывистый ветер рвал паруса и завывал в снастях, мачты зловеще гнулись, трещали. Несмотря на штормовой ветер, бриг нес все паруса. Браун посмотрел на шканцы. К битеньгам у штурвала привязаны два матроса в непромокаемой одежде. Они крепко держат в руках концы от румпель-талей. Третий, долговязый Майкл, ворочает рулевое колесо.

— Направо борт! — орет он. — Налево борт! Матросы торопливо выбирают то один, то другой конец талей.

Впившись в поручни, на рубке стоял штурман.

— Вилли, — взревел шкипер, — всех наверх, паруса долой, оставь только стаксели! Дьявол тебя раздери. — Он сплюнул попавшие в рот соленые брызги.

Штурман что-то кричал в ответ, показывая то на паруса, то на нос брига, но порывистый ветер относил в сторону слова.

С трудом пересиливая порывы ветра, цепко хватаясь за все, что попадало под руки, Браун поднялся к штурману.

— В чем дело, Вилли? — Он грозно выпучил глаза на своего помощника.

— Команда не хочет выходить наверх, сэр! Боцман пошел за матросами, сэр, и не возвратился. Боюсь, не случилось ли с ним несчастья, сэр, — испуганно докладывал штурман.

Не слушая больше, Браун ринулся вниз. Большими прыжками, не обращая внимания на потоки холодной воды, он мигом проскочил палубу и загрохотал вниз в матросский кубрик.

— Наверх, скоты! — заревел Браун. — Все наверх убирать паруса, дьявол вас раздери! Или вы хотите кормить рыб?! — С пеной на губах он топал ногами, осыпая всех проклятиями.

— Капитан, — прервал злобные выкрики шкипера худой высокий матрос и, отделившись от остальных, стал медленно приближаться к Брауну.

— На месте, мерзавец... — Браун со свистом втянул воздух. — Стоять на месте, не то я продырявлю твою пустую башку! — Он выхватил пистолет.

Матрос остановился. По его угрюмому, изуродованному оспой лицу проползла усмешка.

— Спрячьте ваше оружие, сэр. Когда разговаривают свои люди, оно неуместно. Вы забыли, что мы не в Африке. Мы решили, — повысил голос матрос, — объявить вам, сэр, что не хотим кормить рыб, а поэтому не согласны нападать на суда русских. Четверо убитых в одной схватке. Джо Паркер умирает от страшной раны... Сэр, просим высадить нас в любом порту... Мы не хотим умирать. Это наше последнее слово, сэр!

Шкипер обвел глазами тесный кубрик. Матросы, сбившись в кучу, хмуро слушали, что говорит их вожак. В то же время двадцать пар глаз внимательно следили за каждым движением капитана, напоминавшего хищного зверя, попавшего в ловушку.

Томас Браун понял: настаивать опасно. Нужно смириться. Браун знал много случаев, когда команда по-своему расправлялась с капитаном. Затаив злобу, он спрятал пистолет.

— Что ж, ребята, в порт так в порт. Я, пожалуй, согласен с вами. С русскими ладить трудно. Мне тоже не нравится эта затея. Вот мое условие: еще одно русское судно пустим на дно, и тогда в порт. А сейчас, — и, повысив голос, шкипер скомандовал, — пошел все наверх!

Переглянувшись, матросы нехотя стали подниматься по трапу. Кубрик опустел. На палубе, заглушая свист ветра, гремел голос боцмана. Слышались громкие возгласы матросов, топотня, ругань.

Шкипер прислушался. Наверху все шло как надо. Тогда он подошел к узкой деревянной койке, где умирал Джо Паркер. Хриплое дыхание вырывалось из груди раненого, кровавая пена запеклась на губах. Глаза были закрыты.

— Эй, Джо! — окликнул умирающего шкипер. Он нагнулся, прислушиваясь к прерывистому

дыханию.

На мгновение глаза матроса открылись. Узнав капитана, он пересилил боль и приподнялся, упираясь руками в борта койки.

Умиравший с ненавистью, широко раскрытыми глазами смотрел на Томаса Брауна. Он хотел что-то сказать, но, задыхаясь, только беззвучно шевелил губами. Собравшись с силами, матрос плюнул в лицо шкипера и тяжело свалился на жесткий матрац. Шкипер вытащил из кармана платок.

— Подох, мерзавец! — зарычал он, взглянув на матроса. — Дьявол тебя раздери, жалко, что подох: я бы придумал тебе что-нибудь похуже, чем смерть.

Продолжая ругаться, шкипер поднялся на палубу и, даже не взглянув, как команда убирает паруса, скрылся в свою каюту. Чувствовал себя он прескверно. Глотнув по обыкновению стаканчик, он свалился в постель.

Через несколько дней ветер спал, волна сделалась меньше, спокойнее. На мертвой зыби бриг жестоко валило с борта на борт. Еще через сутки потянул восточный ветер, а потом, круто изменив направление, задул с юго-востока.

— Пошел все наверх! Отдать рифы! — раздалась команда со шканцев.

Расправив паруса, бриг снова стал крейсировать в ожидании русского судна.

Время шло. Пустым был горизонт. Вахтенный, сидевший на мачте, проглядел глаза, но не видел ничего, кроме бесконечных просторов Студеного моря.

Но вот ровно в полдень, команда только что принялась за обед, раздался голос вахтенного:

— На горизонте парус, сэр! Русское судно на норд-осте, сэр!

Снова загрохотали по палубе тяжелые башмаки матросов. Бриг пошел навстречу судну.

— На горизонте лед, сэр! — вдруг прозвучал тревожный голос вахтенного. — На зюйд-весте, сэр! Много льда, сэр!

Томас Браун выхватил из рук штурмана подзорную трубу. Осматривая горизонт, он в нерешительности переминался с ноги на ногу, не зная, что предпринять.

— Право на борт, эй там, на руле! — вдруг рявкнул шкипер. — Держи на зюйд-ост! Боцман, следи за парусами! Мой бриг никогда не будет плавать во льдах, — обернулся он к штурману.

Словно хищная птица, корабль зашевелил парусами и, сильно накренившись на повороте, стал уходить на юго-восток.

Но спокойствие недолго царило на брига. С мачты снова раздался тревожный возглас вахтенного:

— По носу лед, сэр!

Браун молчал, словно не слыша, усиленно дымя трубкой.

Штурман с испугом взглянул на капитана.

— Что делать, сэр!? По курсу лед.

— Два румба вправо!

Нос брига послушно покатился вправо.

— Эй, вахтенный, как лед?

— Лед по носу, сэр!

— Еще два румба вправо! — последовала торопливая команда. — Как сейчас лед?

— Лед по носу, сэр!

— Проклятье! Четыре румба вправо, еще вправо, больше вправо!

Но всюду были льды. Они неумолимо надвигались. Как затравленный зверь, метался бриг, окруженный со всех сторон, тщетно ища выхода, но выхода не было.

Томас Браун, бледный и озлобленный, все еще пытался спасти судно. Он выкрикивал команды, ругался, топал ногами.

Отчаявшись, капитан положил судно в дрейф, а сам закрылся в каюте. Вскоре льды подошли вплотную к бригу, и корабль, вздрагивая и поскрипывая корпусом, стал медленно двигаться в ледяном потоке.

Глава девятнадцатая

МОНАСТЫРСКИЙ ТАЙНИК

Когда наступила ночь, Степан, Петр и двое мужиков спустились к реке. Нашарив в кустарнике лодку, они осторожно спустили ее на воду. Бесшумно работая веслами, словно на тюленьем промысле, Степан направил лодку к обрывистому берегу, туда, где белели стены и башни монастыря. Ночь была темная. Несколько звездочек серебрились в просветах меж низко плывущих облаков.

— Дух в лесу какой, — шепотом заметил Степан. — Днем и не заметишь, а в ночи, словно крепкий мед, пьянит.

Степан замолчал. Неожиданно громко на реке всплеснулась рыба. Из-за леса донесся чуть слышный шепот от легкого ветерка. Затрещали сухие ветки в кустах... Отчаянно пискнув, забила крыльями какая-то птица в когтях ночного хищника. Дико заохала, зарыдала сова... Ночь придавала звукам необычный, таинственный смысл.

Но вот страшный звериный рев раздался в тишине. Злобный пронзительный визг и рычание помимо воли заставили друзей взяться за оружие.

— Бродяжие волки меж собой грызутся, — прошептал Петр, — видать, насмерть сошлись.

Волчий поединок продолжался недолго. Вой неожиданно смолк, и снова наступила тишина.

Далеко над лесом зажглось зарево. Казалось, полыхает лесной пожар. В ярко-красном небе отчетливо вырисовывались темные вершины дальнего леса. Вскоре над лесом поднялся огромный огненный шар полной луны. Он медленно вставал все выше и выше, бледнел, уменьшался в размерах, словно растворяясь в ночной темноте.

Над берегом у самой воды неожиданно зажегся огонек.

— К берегу, — зашептал Малыгин, — к берегу гребись!

Прошло немного времени, огонек погас, и друзья услышали всплески весел и постукивание уключин. В темноте возник карбас, быстро идущий по течению. — Игумен за помощью к воеводе монахов погнался, — догадались мужики, — на шести веслах чешут.

— В рубахе ты родился, Степан, — обрадовался Петр. — Теперя мы куда хошь пройдем. Монахов захватим...

— Ну-к что ж, захватим, а дале...

— Тише, выводи лодку.

Вот карбас поравнялся с лодкой. Мужики стремительно бросились на монахов. Через мгновение святые отцы лежали связанные с заткнутыми тряпками ртами. Перетащив на берег мычащих от страха пленников, мужики раздели их до исподнего и сами облачились в монашеское одеяние.

— Ну-к что ж, недаром говорится: не всяк монах, на ком клобук, — пошутил Степан, весело оглядывая товарищей.

— Садись в лодку, братцы, пора за дело, — дрожа от нетерпения, упрашивал Петр. — Теперя мы пролезем в борть, и пчелки не зажалят.

Лодка шла под самым берегом. Малыгин пристально вглядывался в прибрежные кусты. Вот он поднял руку. Степан сильным рывком весел вогнал в берег лодку.

— Здесь, — прошептал Малыгин, — здесь тайник. Давайте огня, ребята. — Он осторожно раздвинул ветви густого кустарника. Перед глазами друзей открылся темный лаз, словно в медвежью берлогу.

Кто-то зажег еловую ветку. Затрещали, задымились смольем иглы, в темноту посыпались золотые искорки.

Подземелье круто поднималось вверх. Шли по крутым каменным ступеням, разрушенным от времени.

Петр снова поднял руку, призывая к осторожности.

— Ступени кончились, други, теперя недолго, — шептал он. — В кладовую тайник выходит.

Петр остановился, подняв горящую ветку над головой. Мужики увидели тяжелую дубовую крышку, скрепленную железными полосами.

Малыгин повернул запор и уперся головой в сырые, покрытые плесенью доски. Бросив огонь на землю, он притоптал его ногами. Стало темно, словно в могиле.

От усилий Петра крышка медленно повернулась, открыв широкий выход. В кладовой было пусто, тихо и темно. Стараясь не шуметь, Малыгин и Шарапов выбрались из тайника, очутившись среди бочонков, ящиков и мешков.

— А вам, ребята, назад. Как говорено, в лодке поджидайте.

Петр закрыл крышку, и друзья остались вдвоем в темной кладовой. Над головой гулко ударил колокол; раздались голоса перекликавшихся дозорных. Потом все стихло.

Малыгин подошел к сложенным у стены рогожным мешкам и осторожно стал их оттаскивать в сторону. За мешками оказалась небольшая дверца.

— Видал? — тихо произнес Малыгин. — Теперь в гости к отцу Феодору в келейку пожалуем.

Дверь открыли тихо, без скрипа и очутились в небольших сенях.

— Тут отец Феодор проживает, — указал Петр на дубовую в глубокой нише дверь. — На столике, слышь, Степа, — шептал Малыгин, — у постели ключ лежит. Так ты смотри, пока я со старцем буду говорить, не зевай.

Малыгин направился к двери. Раздался тихий стук — два раза, потом еще два...

За дверью молчали. Петр постучал еще раз. Из кельи послышалось шлепанье босых ног.

— Кто там? — раздался испуганный голос.

— Это я, отец Феодор, ямщик Петруха Малыгин.

— Ты, Петруха? Искушение... — недоверчиво прозвучало за дверью.

Малыгин узнал голос отца Феодора.

Со звоном повернулся ключ, дверь приоткрылась. В щель показалась седая борода.

— Входи, Петя.

Малыгин и Степан вошли в келью. Перед образом чуть отсвечивала лампадка. Воздух был пропитан удушливым запахом деревянного масла, воска и ладана.

— Еремей Панфилович в Каргополе. Мужиков лес рубить подряжает, — сказал Малыгин. — А меня к игумену послал, все о могилке жениной хлопочет.

— Тяжко у нас, — засуетился отец Феодор, — мужичье взбунтовалось. Искушение. Недаром говорится: еловый пень — не отродчиво, а смердий сын — не покорчиво...

— Дела... — начал Малыгин, немного помолчав. — Мужиков что воронья, едва тайником в монастырь пролез. И ваших опасался... Вишь, ряску вздел. А мужики в один голос воют: подавай-де казначея да келаря.

— Искушение, — вздохнул старик. — Отсидимся, к воеводе люди посланы. Солдатов из Каргополя ждем. А монастыря мужикам не взять — твердый орех. — Он, засмеялся, показав редкие съеденные зубы.

— Перехватили тех людей мужики, — спокойно сказал Петр, — смерти предали.

Отец келарь побледнел. Лицо покрылось каплями пота.

— Завтра ворота народ сломает. Тебе да Игнатию живыми не быть. — Петр взглянул на отца Феодора.

— Искушение. Бог не допустит злодейство сие. Помоги, Петя, — взмолился вдруг старец, — не оставь...

— Ежели жить хочешь, — твердо сказал Малыгин, — зови отца Игнатия. Тайником бегите к реке. У кустов ждут верные люди.

Отец Феодор колебался.

— Искушение, — бормотал он, стуча зубами.

— Спешу, отче, ежели опоздаешь — никто не спасет.

— Иду, иду, — заторопился эконо. — Ох, искушение? Иду, милый. — Он взялся за дверь. — А ежели одному мне... пока отец Игнатий очухается да соберется?..

«Вот гадина, — подумал Малыгин, — своего насмерть оставляет».

— Вдвоем способнее будет, отче, зови Игнатия — и в тайник. А я к игумену наведуясь, меня не жди, отче.

В первом часу ночи густой туман плотно накрыл осажденный монастырь. На дворе у ворот было тихо. Несколько вооруженных монахов, закутавшись в рваные овчины, спали у догоравшего костра. Разгоняя сон, топтался дозорный из послушников. На колокольне снова отбили время. Снова на стене перекликались монахи.

Один из спавших поднял голову, окинул бессмысленным взглядом монастырские стены, едва проступавшие в темноте, торопливо перекрестился и, натянув на себя одежду, захрапел.

Два призрака, почти невидимые в тумане, бесшумно пробирались из глубины двора. Когда дозорный, обеспокоенный шорохом, повернулся, он чуть не вскрикнул от неожиданности: рядом стояли два незнакомых монаха, закутанные в сермяжные ряссы.

— Пошто здесь отцы, откуда? — забормотал испуганно послушник.

— Скорбим животами, сынок, всю ночь муки принимаем, — придвигаясь ближе, плаксиво гнусавил монах повыше ростом.

Дозорный, заметив в рукаве незнакомца блеснувший нож, метнулся было в сторону.

Петр, словно тигр, прыгнул на растерявшегося послушника, мигом свалив его с ног.

— Дурак, бежать надумал, — отрывисто говорил он, затыкая чернецу рот, — хорошо, жив остался. Голову чуть тебе не оторвал.

— Ну-к что ж, быстрая вошка завсегда первая на гребешок попадает. Идем дале, — торопил Степан.

Малыгин бросил у стены связанного монаха и повернул за угол.

Вслед за Малыгиным тихо, как тень, двигался Степан. Спустившись по каменным ступенькам, друзья подошли к тяжелой железной двери.

Степан долго возился у замка. Наконец дверь открылась. Пахнуло сыростью. Выкрошив огонь, Малыгин зажег факел. Ярким огнем осветилось глубокое подземелье. Прижавшись друг к другу, на каменных плитах спали люди.

— Ребята, вставай, эй! — радостно крикнул Малыгин. Мужики подняли головы, сонно зашевелились. Петряй спустился по выщербленным ступеням на каменный пол.

— Яков Рябой здесь? — спросил он, двинувшись к узникам.

Мужики испуганно зашептались. Из темной кучи грязного тряпья, позвякивая цепью, поднялась высокая и худая фигура.

— Я Рябой, — раздался спокойный глуховатый голос. На Петра глянули исподлобья холодные, жестокие глаза. Мужик казался нестарым, но резкие морщины густо бороздили

угрюмое лицо и широкий лоб. У рта залегли глубокие складки.

Жмурясь от света, он шагнул к Малыгину.

От Фомы Гневашева присланы, — сказал Петряй, на волю выведем. Мужики радостно и громко загомонили.

— Не шуметь, дьяволы! — властно прикрикнул Яков. Рябой, резко повернувшись к мужикам. Шум сразу утих.

— От Фомы? Видать, не забыл. — Голос Рябого потеплел.

— Не забыл, выходит, — отозвался Малыгин. — А ты пошто с ножом-то? — покосился он одним глазом на Якова Рябого.

— Жизни лишить хотел, — нехотя ответил Рябой, — давно случая ждал ребят вывести. Смотри, чепа-то у всех перепилены. Ты Фому Гневашева назвал — жизнь себе уберег. Монахи двери не открывали, боялись: вон в то оконце, — показал он, — хлеба кинут, и все, возьми их.

— Вот ты каков! — вступился молчавший Степан Шарапов. Он с удивлением рассматривал мужика. — Молодец, с волками жить — по волчьи выть. А теперь, ребята, пойдём, время волочить зазря нечего.

Радостно блестели глаза у мужиков. Не веря еще своему спасению, они тихо выходили из подземелья.

С ликованием встретили крестьяне освобожденных товарищей. И когда забрезжил рассвет, захватив казначея и келаря, они всем скопом двинулись в лес. На поляне, окруженной частым кустарником, мужики остановились.

— Казнить злодеев! — раздалось из толпы.

— Вора миловать — доброго казнить!

— Под дерево попов, под корни! — кричали мужики. Слово из-под земли появился Яков Рябой и, сверкнув волчьим глазом, указал на огромную сосну. Мужики бросились к дереву. Одни стали обкапывать и подрубать корни, другие, держа в руках веревки, ловко вскарабкались к самой вершине.

— Корневанием казнить будут, — тихо сказал мореходам Малыгин, — страшная казнь.

— Вали дерево на энти кусты! — раздался голос Рябого.

Подрубив с одной стороны корни, мужики дружно ухватились за веревки и стали клонить на себя сосну. Подрубленные корни, отделившись от земли, оцетинились: под ними зияло углубление.

— Веди злодеев! — приказал тот же голос.

Несколько человек схватили упиравшихся монахов, приволокли к сосне и, бросив на землю, затолкнули их расслабленные тела под корневище.

Монахи, судорожно глотая ртом воздух, обезумев от страха, пытались вырваться из-под корней, но мужики длинными колыями удерживали их.

— Бросай веревки, — загремел Яков Рябой. Дерево, зашумев ветвями, выпрямилось. Раздался короткий отчаянный вопль. Мужики торопливо забросали корни землей.

Мореходы перекрестились, вытерли пот, выступивший со лба. Несколько минут прошло в молчании.

— Натерпелись горя мужики, — оправдываясь, сказал Степан, — ох как натерпелись, оттого и лютуют.

Пришло время расходиться. Мореходы готовились к походу в скиты. Мужики спорили и рядили, что делать дальше.

Шарапов сидел нахмурившись на замшелом валуне. Рухнула надежда на помощь монастыря. Предстояло одним искать затерянный в лесах раскольничий скит, проникнуть сквозь стены и запоры, вырвать Наталью из цепких рук, увести из-под носа сторожей.

— Степан, — услышал он знакомый глуховатый голос, — послушай-ка!

Мореход поднял голову. Перед ним стоял Яков Рябой, подходили остальные, освобожденные из монастырской темницы узники.

— Хотим с вами в леса податься, — твердо сказал Яков, — мы на себя всю вину за мир берем, дак здесь все едино нас плетью запорют. — Он помолчал, посмотрел на обступивших его мужиков. — Порешили ребята помочь доброму делу: Фома-то про невесту нам все обсказал... Скопом в лесу вернее. Не сумлевайся, Степан, найдем девку.

Мужики одобрительно закивали головами.

— И отец со мной в леса уходит и жена. — Яков Рябой положил руку на плечо маленькой бледной женщины. — Детишек-то бог прибрал. — Он тяжело вздохнул. — И Фома Гневашев с нами. Поможем вам, а потом ищи ветра в поле, — опять заговорил Яков, хищно раздувая ноздри длинного носа. — Русская земля длинна, широка, не клином сошлась.

Крепко пожал руки мужикам Степан.

С первыми лучами утреннего солнца крестьяне отряда Якова Рябого, вооруженные вилами, топорами и рогатинами, одетые в дранье и заплаты, выступили вместе с мореходами в трудный поход.

Глава двадцатая

ПО ЗВЕРИНЫМ ТРОПАМ

Вечерело. Лес окутался пронизывающей сыростью. По низинам поднимался туман. Небо темное, недоброе, ночь обещала быть холодной.

Отряд Якова Рябого шел напрямик по лесной чаще, по болотам и топям карельской тайги. Многочисленные озера и реки, большие и малые, преграждали путь людям, одежда и обувь давно промокли. Вожак сбился с пути, люди шли наугад. Несметные комариные полчища доводили мужиков до исступления, лица и руки у них вспухли и нестерпимо чесались. Но сейчас усталость заглушала все, люди валились с ног, не чувствуя даже голода.

Вот опять вышли к лесному озерку, поросшему болотной травой и кустарником.

— Это Лешозеро, — признал Яков Рябой, — деревенька здесь была. А приписали мужиков к заводу, невтерпеж стало жить, всем миром в леса ушли.

Сквозь ветки кустарника, разросшегося у самого берега, виднелись темные контуры каких-то строений. С радостью бросились мужики к жилью.

Да, совсем недавно здесь была деревенька — жили люди. Теперь с десятков заброшенных изб угрюмо глядели в лес пустыми оконцами. Двери либо забиты накрест досками, либо приперты колом. По щелям тесовых крыш буйно разрослась трава, а кое-где проглядывала нежная березовая поросль.

Под ночлег путники заняли большую и лучше других сохранившуюся избу, стоявшую у самой воды. На обширный крытый двор вели тяжелые резные ворота. В окнах, обрамленных узорчатыми наличниками, торчали остатки слюдяных пластинок. Дверь висела на одной петле; порывы ветра раскачивали ее, она жалобно стонала, словно сетуя на судьбу. Во дворе нашлись сухие березовые дрова, а верх под крышей был забит сеном.

Мужики стали готовиться к ночлегу: кто рубил и носил дрова, кто колот лучину. Некоторые большими охапками волокли сено для спанья.

Необъятная русская печь топилась по белому, в избе сделалось тепло и уютно.

Не у каждого хватило терпенья дожидаться варева; многие уснули. Кто раскинулся на печке, томясь в тепле, кто на сене, кто на лавках.

Отец Якова Рябого — Василий, тихонький старичок, всю дорога маявшийся ногами, поглядев по стенам, принес охапку пахучей травы и стал разбрасывать ее.

— Ты, дедушка, пошто травку принес? — недовольно покрутили носами мужики.

— Клопиная травка, сынки, клопов здесь необоримая сила, — пояснил старик.

Степан и Петр Малыгин расположились на сене. Перед сном, разомлевшие в тепле, они лениво перебрасывались словами.

— Заснем, что ли? — позевывая, спросил Петрай.

— Заснем. Спать не писать — только глаза зажать.

— Слышь, ветер гуляет?

— С дождем ветер-то.

— А нам нипочем.

— Не в лесу.

— Баньку ба, а, Степа?

В ответ послышался легкий храп.

В одном из углов избы, дымясь и потрескивая, горит лучина. Фома Гневашев, курносый мужичок с оттопыренными ушами, готовится заговаривать зубную боль у огромного, жилистого, обросшего до глаз бородой Орефы.

— М-м-м, ох, — стонет великан, ухватившись за щеку, — скорей, Фома, начинай. Ох, не могу-у-у, все нутро тянет проклятый зуб.

Гневашев положил на лавку кусочек воску, корочку черного хлеба, щепоть соли и с важным видом долго шевелил губами.

— Аминь, аминь, — сказал он вслух. — Ну, таперя, Орефа, приготовься, ужо заговаривать начну.

— Да что мне готовиться-то, у-у-у, побойся бога. — Орефа, словно бык, замотал головой.

— Божественное поминай: пресвятые богородицы, анделов...

— М-м... бога для начинай, Фома... Ох, у-у-у! — взвыл мужик. — Удавлю, дьявол... — И он, вращая глазами, кинулся на Гневашева.

— Стану благословясь, пойду перекрестясь, — отпрянув, затараторил Фома, — из избы дверьми, из двора воротами под восточну сторону. Под восточной стороной стоит часовня. А в этой часовне стоит Антипа, зубной бог. Помолюсь Антипе, зубному богу: «Антипа, зубной бог, сходи на буево, на буеве лежит мертвый мертвец, спроси у энтого мертвеца, не болят ли у нею жилы, зубы и не тоснут ли у него скулы?»

Фома кинул быстрый взгляд на больного. Орефа раскрыл рот, с надеждой уставился на знахаря.

— Ответил мертвый мертвец Антипе, зубному богу:

«Не болят мои жилы, зубы, не тоснут мои скулы». Так бы не болели у недужного раба Арефа. Не болели бы жилы, зубы, не госнули бы у него скулы. Аминь. Ну вот, — помолчав, сказал Гневашев, — таперя воску на зуб положи и соли откушай... Всю, всю ее, матушку, погребь. — Фома подождал, пока мужик, морщась, глотал соль. — А опосля всего корочку пожуй... И божественное поминай, молитвы святыя. Назавтрие все как рукой снимет...

Надоедливо вершинами деревьев шумел ветер. Ударил проливной дождь, яростно барабана по крыше.

Со всех углов избы раздавался храп, пахло потом нечистых человеческих тел, еще чем-то кислым и душным.

Старичок с больными ногами улегся рядом со Степаном. Он долго ворочался, охал, надрывно кашлял, отхаркивался и плевал. Под утро, когда в окнах чуть засерел рассвет, Василий Рябой разбудил Шарапова.

— Степанушко, — с усилием промолвил он, — подвинься ко мне.

Степан подвинулся ближе. Старик с оханьем приподнялся на локте.

— Ты сына мне спас, — зашептал он, не спуская блеклых, уставших от жизни глаз со Степана. — Ведома мне река. Недалече... зерна жемчужного много, — Василий тяжело вздохнул. — От Феодора, душегубца, сколь мук принял — того места не открыл, а тебя награжу. Знаю, куда идешь. На дело деньги пойдут. Сыну велел — он укажет... один иди. — Старик откинулся на изголовье и замолк.

— Ну-к что ж, спасибо, отец, — благодарил растерянный, немного смущенный Степан.

Он не заметил, как в темноте совсем рядом зашуршало сено, на миг приподнялась чья-то лохматая голова.

Степану показалось, что старик что-то хочет сказать еще. Но напрасно он ждал. Василий захрипел, дернулся, закинул голову. Реденькая седая бороденка поднялась кверху.

К рассвету стало тишеть, показалось солнце.

Утром Василия Рябого хоронили всем скопом. Над небольшим холмиком забелел березовый крест. После похорон к Степану подошел Яков и, взяв за локоть, отвел его в сторону.

— За жемчугом седни идем, — смотря в сторону, сказал он, — тебе одному покажу, так отец велел.

— Знаю, — раздумывая и дымя трубкой, ответил Шарапов, — много ли ходу туда?

— В трое суток обернемся. — Яков отмахивался от дыма. — Мужики здесь обождут.

— Ну-к что ж, пойдем. Ежели есть чем в кармане звякнуть, так можно и крякнуть — деньги во как надобны! У богатого, говорят, черт детей качает. Постой, — спохватился Степан, — что мужикам скажем?

— Недалече стоит часовенка, скиток, — помолчав, ответил Яков, — праведный старец там живет. Скажешь, наказывал тебе отец подаяние в поминки старцу отнесть, не обессудят мужики.

...Яков Рябой, человек молчаливый и угрюмый, вел Степана среди болот и топей. Часто им приходилось валить вековые ели и по зеленым мосткам пробираться через трясины.

— Люди говорят, — бурчал он, оглядывая со всех сторон высоченную ель, — дерево туда ронят, куда оно качнулось, а мы сами его гнем, куда надоть.

Перебрали несколько мелких речушек. Обошли озеро, густо засыпанное опавшими листьями. По болотам шли, перепрыгивая с кочки на кочку, помогая себе шестами, — впереди Яков, за ним Степан.

Привычный ходить по льдам, Степан и здесь не отставал от своего проводника.

К вечеру путники добрались до небольшой речушки с прозрачной, как слеза, чистой водой.

— Пришли, — сказал Яков.

Не говоря больше ни слова, он стал рубить у самого берега высохшее дерево.

— Роняй еще одну сушину, вон ту, — указал он, видя, что Степан взялся за топор.

Из нескольких бревен мужики быстро сладили плот, связав его с помощью жердей и гибких прутьев.

— Готово, — осматривая со всех сторон свое сооружение, сказал Яков. — Назавтрие, как солнышко встанет, начнем с богом... А сейчас ущицу сварим, рыбки пожуюм.

Нарезав гибких ивовых прутьев, Яков принялся плести небольшую сетку. Степан с удивлением глядел, как быстро в умелых руках спорилась работа.

— Ну и ну, — ощупывая руками готовую сеть, похвалил он, — мне бы и в день таково ладно не сделать.

— У морехода в другом сноровка, а я лесной человек, всю жизнь здесь прожил, — ответил Яков.

Побродив с сетью по реке, он выловил несколько больших рыббин.

Когда принялись за густую уху, Яков сказал:

— Эдак бы на заводе!

— Плохой харч, что ли, на заводе-то? — уписывая за обе щеки, спросил Степан.

— А то... дадут щи — хоть кнутом хлещи, пузыря не выскочит. Каша суха да горька, без масла... А за день наломаешься — руки не поднять, — Яков замолк.

— По своей воле на заводах работал? — любопытствовал Степан.

— По своей воле? — удивился Рябой. — Да в жизнь бы не стал! Житье там — лецу на сковородке легче. Сильем загнали. — Вдруг он перестал есть и прислушался.

— Птица гомонит, слышишь? От испугу эдак-то. Видать, человек близко.

Несколько пташек с тревожным криком вылетели из прибрежных кустарников. Яков вскочил. На бледном лице загорелись по-волчьи глаза, вздулись жилы на худой загорелой шее.

Глядя на него, Степану сделалось не по себе. А Яков, ощупав на поясе нож, ринулся в кусты.

— А-а-а-а! — раздался хриплый человеческий вопль. Послышался шум борьбы.

Опомнившись, Степан бросился помогать товарищу. Но Яков управился сам. Он появился на берегу, держа за ворот яростно отбивавшегося лохматого мужика.

Увидев в руках Степана пицаль, мужик перестал сопротивляться.

— Иди, злодей, иди. Что задумал, проклятый? — Якова снова охватила ярость. Он схватил мужика за волосы и, повалив, долго возил лицом по траве.

— Молись богу, — выпустив свою жертву, тихо сказал Рябой, — пожил на свете, хватит. Вскормили змейку на свою шейку.

Мужик понял, что пришла смерть. Дико вращая глазами, он рухнул на колени.

— Яков Васильевич, пощади, по бедности я! Детишки дома, оголодали. Степан, Степушка родной, заступись! — молил он, ползая на коленях.

У Степана задрожала пицаль в руках. Яков, заметив колебания Шарапова, решил дело сам...

— Лютости в тебе много, Яков. Страшный ты человек, — укладываясь спать, сказал Степан.

— Не я — он нас жизни решил бы, — нехотя ответил Рябой, — знаю его, подлый мужик. Не единожды в тюрьмах за воровство сиживал... В лесах всякие люди живут.

В ночь стало студено. То ли от холода, то ли от пережитого Степан долго не мог согреться и заснуть.

Утром Шарапов проснулся от птичьего гама. Рассвет только начинался. Яков уже встал и что-то мастерил, сидя на пенечке. На костре варилась уха. От котла разносился ароматный дух.

Увидев, что Степан проснулся, Яков подошел к нему, держа в руках трубку, сделанную из березовой коры, и шест с расщепом на одном конце. В расщеп была вставлена небольшая палочка.

— Без этой снасти раковину добыть трудно, — объяснил он. — Видать, не промышлял ране-то? На-кось, тебе сделал.

— Слышать слышал, а самому чтоб — не приходилось, — рассматривая с интересом орудие

ловли, ответил Степан.

Закусив ушицей, мужики полезли на плот. Подняв тяжелый камень со дна, служивший вместо якоря, они протянули плот немного вверх по течению. Здесь камень бросили снова.

— В трубу смотри, Степан, вот так, — показывал Яков, — увидишь раковину, в расщеп прихватывай.

Степан долго ничего не видел. Но когда глаза привыкли к темному однообразию речного дна, ему удалось подцепить в расщеп корявую на вид ракушку. Степан бросил свою добычу в берестяную кошелку, стоявшую под руками. Взглянув, Яков одобрительно кивнул головой. Раковина была большая — величиной с хороший кулак.

День выдался погожий. На безоблачном небе ярко светило солнышко. В такую погоду искать жемчужины было легко, не то что в пасмурный день. Медленно передвигая плот по реке и проглядывая дно, ловцы напромышляли к солнечному закату полную корзину. У Степана с непривычки ломило спину и болела шея.

— Темно, — наконец сказал Яков, — на сей день довольно. Пойдем посмотреть, что бог дал.

Расстелив оленье одеяло, мужики сели, поставив рядом берестяную кошелку.

— Учись, Степан. — Яков взял нож и стал осторожно раздвигать створки жемчужницы. Первая раковина была пустая. — Не угадал, — недовольно пробурчал он, бросая раковину в реку. — Пустую-то ее и открывать не надо — так видно.

Попадались мелкие матовые жемчужины то с горошину размером, то с рыбью икринку. Яков молча клал их в мешочек. Но, открыв большую, неприглядную с виду раковину, он оживился.

— Счастье, — сказал Яков, показывая черную жемчужину величиной с лесной орех.

Жемчужина была прозрачна, на солнце вспыхивала и искрилась. Переливаясь огнями, она будто дышала.

— Ну-к что ж, красивая, — не мог удержаться от восхищения Степан. — Дорого ли такая стоит?

— Ежели в Архангельске продашь, сотню в карман положишь. Черная-то не в пример дороже... Большая, поболее воробьиного яйца. Другой всю жизнь проищет, не найдет.

Когда открыли все раковины, в мешочке у Якова оказались пять белых больших жемчужин, одна черная, два десятка жемчужных зерен размером с большую горошину и горсть мелкого жемчуга.

— Бери. — Яков снял мешочек с пояса и протянул его Степану. — Бери, Степан, все твое!

— Почему все? Попролам, Яков, вместе собирали, — стал отказываться Шарапов.

— Так велел отец, — отрубил угрюмый мужик и сам привязал мешочек к поясу Шарапова. — Ежели понадобится, еще наберу.

— Ну-к что ж, спасибо, друг, выручил, теперь и на свадьбу Ивану хватит, — взволнованно благодарил Степан.

Под вечер следующего дня мужики возвращались в деревеньку Лешозеро.

По дороге не раз и не два пытался заговорить Степан, но Яков упорно отмалчивался.

— Вишь, как охмарило тебя, — с укоризной оказал Степан, — впервой вижу такого. Али умишком пообносился?

Взглянув на разобиженного Шарапова, Яков собрался ответить, но вдруг в ближних кустах дико вскричала сова. Мужики прислушались. Сова проплакала еще раз.

— Не птица, человек голос подает, — буркнул Яков, — нас остерегает. — Поднеся сжатые ладони к губам, он ответил пронзительным совиным плачем.

— Да ты, я вижу, на все руки мастер, — открыл было рот Степан.

Яков предостерегающе поднял руку.

— Побережись языком болтать, — прошептал он. Несколько минут прошло в молчании. В лесу тишина; только ветер шуршал осиновым листом. Совиный крик раздался ближе. Хрустнул под ногами валежник. Зашевелились ветви молодых березок, и в зеленях возникла взлохмаченная, волосатая голова.

— Гневашев, ты? — спросил Яков.

— Я, — ответил небольшой мужичонка, выползая из кустов, — воистину я.

— Пошто кричал? — строго спросил Яков Рябой.

— Солдаты в деревне, — быстро заговорил Гневашев, — седни в полдень из Каргополя пришли, истинно так. Наши в избе заперлись. Воевода приказал всех колодников монастырских изловить — и в Питер на правез, истинно так. А в Питере разговор один: кнутом драть ноздри рвать — да на вечную каторгу.

— Ну-к что ж, выручать надо ребят, — сказал Степан. — Эх, задержались мы! Не пошли бы за... Яков грозно вытаращил глаза на Шарапова.

— Ходили, значит, нужда была, — отрезал он. Степан прикусил язык.

— Офицер высокий, око тряпицей черной перевязано, истинно так. Нашим мужикам офицер кричал: «До утра ежели не выйдете — живыми сожгу», истинно так. Меня Петро Малыгин упредить погнал.

— Как со двора сошел? — спросил Рябой.

— Тесину отогнул, пождал, пока дозорный отвернулся, и вышел, истинно так.

— Ладно, молодец, — похвалил Рябой. — Пойдем, Степан, посмотрим, пока не стемнело; свой-то глаз вернее.

Разговаривая, Фома Гневашев отворачивался, стыдливо прикрывал рукой распухший нос и черное пятно под глазом.

— Кто те рожу расквасил? — всмотревшись, хмуро спросил Яков Рябой. Гневашев вздохнул.

— Дьявол волосатый отблагодарил, — криво усмехнувшись, ответил он. — Арефа, чтоб его икота заела.

— С чего ба, кабыть мужик он смиренный, зазря мухи не обидит, — притворно удивился Яков.

— Случай вышел, — мямлил Гневашев, — зубом Арефа маялся. За ночь рожа у него — что твой котел, вспухла, скосоротилась, дак он, озлобясь, кулачище свой сунул, истинно так.

— Эх, Фома, Фома, хороший ты мужик, а не в свое дело встречаешь, — с укором сказал Яков, — знахарь...

У большой избы, где закрылись мужики, горели костры, в котлах, подвешенных на треногах, что-то варилось.

Несколько голых солдат бродили с сетью в озере.

Из ближнего домика вышел офицер. Он осмотрел ружья, сложенные в козлы, обошел дозорных.

На задах, у самого озера, топилась большая баня. В избушку, стоявшую рядом с офицерской, то входили, то выходили солдаты.

Погода стояла тихая, теплая.

Прапорщик налегке, без мундира, снова вышел из дома и направился в баню. За офицером шел денщик со свертком и зеленым березовым веником под мышкой. Денщик вернулся в избу и опять прошел в баню, неся зажженный слюдяной фонарь...

Время подошло к полуночи. На темном небе ярко горят звезды. Чуть светится подслеповатое окно в бане... Погасли костры. Офицер не велел держать огня, чтоб не слепило глаза дозорным. Лагерь затих. Слышно, как у большой избы переговариваются солдаты.

— Солдаты! Эй, помогите! Помогите... — раздался истошный вопль, и опять все смолкло.

Дверь из бани открылась, двое мужиков вынесли голое человеческое тело и, бросив в лодку, спрыгнули сами. Мгновение — и лодка скрылась в камышах.

Крик был услышан. Раздались выстрелы: стреляли дозорные. К бане бежали полуодетые солдаты с ружьями.

Пользуясь смятением, Фома Гневашев бросился к большой избе, где сидели мужики. Отодвинув засов, он заорал:

— Ребята, выходи-и-и!

Мужики ринулись на улицу. Загорелись смолистые ветки. Появились Степан и Яков.

— Утоп прапор, ребята, таперя не укусит, — объявил Яков Рябой людям.

Он преобразился: из хмурого, нелюдимого мужика превратился в энергичного командира. С небольшим отрядом Яков бросился на солдат, закрывшихся в бане.

— Степан, — крикнул он на ходу Шарапову, — к солдатской избе беги! Ежели солдаты ружья кинут — не бей.

Навстречу Шарапову бежал в подштанниках, босиком каргопольский мужик Милонов.

— Ребята, — вопил Милонов, — не троньте меня, ребята, помилуйте. Силком воевода заставил солдат вести...

Мужики, не задерживаясь, ворвались в избу. Солдаты, словно испуганные бараны, сбились в кучу.

— Бросай ружья, служивые! — крикнул кто-то, замахиваясь топором.

— Бросай, ребята! — Один из солдат швырнул пицаль.

Молча кинули ружья остальные и подняли руки. Высокий солдат с седыми отвисшими усами шагнул вперед.

— Мужики, — спокойно сказал он, — не хотим мы кровь проливать безвинно. Кровь-то одна у нас, мы...

— Изменник! — раздался громкий голос. Хлопнул выстрел — солдат покачнулся и медленно повалился на пол. Выбив ногой оконную раму, выскочил из избы фельдфебель, стрелявший в солдата.

Мужики в ярости вскинули ружья. Раздались выстрелы. Проклиная убийцу, Малыгин бросился в погоню.

— Петряй, вернись, — крикнул Степан, — все равно не миновать наших рук мерзавцу! Из лесу не уйдет... Ну-к что ж, а вас, солдаты, не тронем, идите себе с богом домой.

Из бани прозвучало несколько выстрелов. Кто-то кричал, ругался.

— Конец, ребята, — услышали мужики голос Якова Рябого, — отбились. Теперь нам одна судьба — по лесам жить. Проживем. Здесь-то нас матушке Лизавете не достать! Руки коротки, бабонька, чтоб тебе пусто было. А в несогласьи кто — уходи, не держим.

Окинув зорким взглядом товарищей, Яков Рябой добавил:

— До скита отсель рукой подать. На другой день будем. Поможем Степану девку взять, а там...

Утром отряд Якова Рябого двинулся к выгорецким скитам.

Глава двадцать первая

ИЗУВЕРЫ

Утром в скит Безымянный приплелся старец Амвросий. В драной шубенке, весь покрыт грязью... Старец пытался говорить, но язык не слушался его. Соборные отцы поволокли очумевшего Амвросия в баню. Полный день работный мужик Пимен, изломав несколько веников, отпаривал полумертвого странника. К вечеру Амвросий ожил.

— Спасибо, замереть не дали, — кланялся он соборным старцам. — Трое суток в лесу блуждал, как жив из трясины выбрался, и сам не знаю.

— Бог тебя спас, отец Амвросий, не хотел твоей смерти, — ответил большак.

— Откуда ты путь держишь? Зачем сам один в лес пошел?

— Многих заблудших вернул я к древнему благочестию, — тонким голосом рассказывал Амвросий, — многие годы за святой крест, за бороду мученья приемлю. По наущению антихристову оклеветали злоковарные люди, и повелела матушка царица, — злобно выговаривал старец, — меня плетью сечь и гнать в дальнюю сторону. Упредили добрые люди, унес ноги из Питера. Думал, в Пигматке отсиджусь, да не привел господь. Царица за мной солдат послала, ночью во двор к Прибыткову ворвались. Хозяин меня задами вывел, и я, аки зверь, таясь от людей, прямым путем в Безымянный. Солдатам ваш скит вовек не найти.

Старцы слушали молча. Когда Амвросий кончил, они переглянулись и потупили глаза. Сафроний не сразу решился на разговор.

— Думаю я, отче любый, тебе в нашем скиту оставаться не след, — ворковал большак. — А вдруг и к нам солдаты нагрянут? Окружат скит и тебя, как гнуса, в западне возьмут. Вот что, отче любый, мы назаутрие карбасик крытый пошлем, тебя в Кеми у надежного человека захороним... Ежели солдаты к нам пожалуют, упредим — хозяин тебя дальше отвезет... А здесь, коли скит окружат, и тебе не уйти, и нам всем животом не откупиться. Разорят скит, как бог свят, разорят. Как, отцы любые, так ли говорю? — Речь у него была томная, вкрадчивая.

— В согласии мы, — ответил старец Аристарх. — Простого мужика на место умерших в книгу вписать можчо, и концы в воду, а тебя не сокрыть. Правду большак сказал: Амвросию назаутрие дальше ехать.

Амвросий маленькими колючими глазками прощупывал старцев. Загорелся было, хотел сказать укорительно, но смолчал. Понял: о себе святые отцы пекутся.

— Как скажете, братья. — Амвросии вздохнул и склонил голову. — Тяжка мне путная долгота, да что делать...

Стали вздыхать и соборные старцы.

— Отец Сафроний, — раздался испуганный голос за дверью, — отопрись, беда, солдаты близко...

Сафроний впустил мужика.

— Словно волчья стая, по болотам идут, — рассказывал старцам запыхавшийся трудник. — Пищали у всех, бердыши.

— Скажи, Николушка, сколь им ходу до скита? — спросил большак.

— Демьянову топь им обойти осталось, к полдню, не ране, будут, — ответил мужик, робко озираясь по сторонам.

Соборные старцы побледнели, изменились с лица. Амвросий, сложив руки на груди, сидел прямой и строгий.

— Скажи, любый, привратнику, — распорядился большак, — пусть накрепко ворота закроет, отпереть всегда успеем.

Пыхтя, Сафроний поднялся и, волнуясь, стал ходить по горнице. Он был тучен, лицом красен и с небольшой плешью. Маленькие глазки плавали точно в жиру. Волосы, длинные, прилизанные, спускались небольшими кудрями. Походка смиренная, тихая, осторожная. Волчьи зубы имел Сафроний и лисий хвост.

Неожиданно поднялся Амвросий.

— Настало время, братья, принять крещение огненное, — облизывая пересохшие губы, громко сказал он. — Через святую смерть приемлем царствие небесное. — Глаза старца загорелись огнем безумия. — Не дадим нечистым войти в скит, не дадим измываться антихристу! — Он задышался, потрясая высохшими руками.

Соборные старцы рядились недолго, времени не было. Пришлось уступить. Откажи Амвросию, впусти в скит солдат — все равно конец общежительству: разорят, разгонят. А старик по всему свету разнесет: не могли, дескать, благочестие отстоять, как должно святым отцам.

Однако старцы заметили: уж больно легко согласился Сафроний. Даже путного слова против не вымолвил, но в глаза не посмели сказать.

Скит зашумел, зашевелился, словно потревоженный улей. На призывный звон колокола к часовне бежали люди. Старец-городничий шнырял по кельям и службам, наблюдая, чтобы собрались все. Часовня наполнилась народом. От дыхания двух сотен человек стало душно.

Появился Сафроний, окруженный соборными старцами. Красная лысина большака покрылась потом, седая бородка заметно тряслась. Он поднял руку. Многоустый шепот затих.

— Братья и сестры, — срывающимся голосом спросил Сафроний, — все ли здесь?

— Все, — послышалось с разных сторон. Большак истово перекрестился и, запинаясь, начал молитву.

— Вершите, отцы, — окончив и поклонившись на все стороны, сказал он соборным старцам, — не мешкайте.

Городничий, стоявший у двери, задвинул засовы. В мертвой тишине забрякали ключи. Другие старцы наглухо закрывали тяжелыми бревенчатыми щитами окна, для крепости закладывали их брусьями. В часовне не стало дневного света. Дрожащие огоньки лампад и свечей едва освещали застывшую толпу и лики святых на темных иконах.

Когда старцы стали раскладывать в моленной смолье и сено, толпа не выдержала, загудела; раздались истерические вопли, женский плач и стенания.

Люди поняли — готовится гарь. Мужики из трудников в смертной тоске рыскали глазами по всем углам, подумывая о спасении.

— Братья и сестры, — выступил вперед старец Амвросий, — близки слуги антихристовы. Постоим за древнее благочестие! — Он преобразился, глаза его пылали страстным огнем. Круто и властно держал он себя. — Очистимся огнем, братья и сестры, обретем царствие небесное!

Высокий и худой, как шест, с горящими глазами, в длинной белой рубахе, старец был страшен. Но его неподдельная страстность захватывала людей. Амвросия стали слушать. Вопли и стенания утихли.

А в закутке, скрывшись от взоров, шептались двое.

— Сдается мне, — говорил старец Аристарх, — крутит большак. В речах путается, словно другое что в мыслях.

— Гнус! Отца родного за гривну продаст Сафроний, — злобно ответил другой старец. — Уйдет от гари, как бог свят, а нам помирать.

— Следить за ним надо, глаз не спускать. Куда он, туда и мы, глядишь, живыми выйдем.

— Идут слуги антихристовы, — бесновался с амвона Амвросий, — идут, идут звери лютые. Возлетим с огнем на небо, спасемся, братья и сестры! За двоеперстное сложение, за молитвы святых животы свои отдадим!

В молельне раздались всхлипывания, сдерживаемые рыдания женщин. Мужики глядели дико, словно затравленные звери.

— Вижу, разверзлись стены, — подняв руки кверху, вопил Амвросий, — вижу огонь и дым

великий. Народу множество в белых ризах, — закатив глаза, он затрясся в неистовстве, — вижу врата небесные в сиянии райском и народ, восходящий в небеса.

Амвросий упал на колени.

— Молитесь, братья и сестры!

Крестясь, люди шумно повалились на деревянный пол часовни, забились в истерике женщины.

— Вяжу еще, — продолжал выкрикивать Амвросий, — закрылись двери небесные, впустив праведников. Горе грешникам, кои спасение нечестивое обрести восхотят, в огонь и дым с небес будут свергнуты.

Плач и стенания усилились. Рыдая, ломали в отчаянии руки женщины. От смрада и копоти лампад, одуряющего запаха воска все закрутилось, завертелось в глазах. Казалось, ожили бородатые святые на темных иконах, зашептались, закивали головами...

Степан с товарищами долго стучались у ворот скита. Все было мертво и тихо. Вконец мужикам надоело.

— А что, ребята, не махнуть ли нам через забор? — поглядывая на высокий частокол, спросил Малыгин.

— И то правда, — согласился Яков Рябой, — давай, мужики, кто помоложе.

Охотники нашлись. Приложив к забору бревно, двое мужиков разом перемахнули во двор. Открыв ворота, они впустили остальных. Во дворе было пусто.

— Эх, святые отцы и матери, куда вас черт унес?! — не на шутку всполошился Степан Шарапов.

Мужики обыскали все постройки и, не встретив ни души, разводили руками.

— Словно ветром выдуло, — удивлялись они.

— В церкви заступники наши, — крикнул Малыгин, — заперта церковь. Однако внутри шум слышен, будто пчелы в улье гудят. — Он нагнулся, приложив ухо к дверям.

Петряй торкнулся в дверь, но ответа не получил. — Постучать разве еще, — как-то нерешительно протянул Яков Рябой. — Да как тревожить людей — молитвы богу возносятся.

— Негоже людей тревожить, — отозвались мужики, погоди малость. — В скиту они заметно робели.

— Коней без призору бросили, полоумные, — с укоризной заметил Малыгин, глядя на два пустых воза у ворот. Лошади, понутив головы, переминались с ноги на ногу.

Ямщик подошел к коням.

— Хорош, — сказал он, оглаживая вороного жеребца, — хоть сейчас в тройку. Любой купец не побрезгует, хорош, слова нет.

Потянулись мужики. Обступив лошадей, они долго по косточкам разбирали их достоинства и недостатки. Но и лошадей надоело смотреть, решили отдохнуть.

Вечерело, солнце клонилось к лесным вершинам.

Степан дважды ходил к церкви стучаться.

— Неладно здесь что-то, — беспокоился он. — Ежели народ в церкви, почему не отзовется? И в службе долгота.

— А ты дубину возьми, сподручнее, — посоветовал Петр. — Дубиной ежели по двери ахнешь, глухой услышит. Греха не бойся, не то бывает.

— Попробуй, Степан, — согласился кто-то из мужиков, — что время тянуть.

— Жрать охота, ажно животы подвело. Все скопом снова собрались у часовни. Степан взял в руки палицу.

— Перекрестись, мореход, — посоветовал Гневашев, — перекрестись, греха меньше возьмешь. Истинно так!

Степан перекрестился и три раза бухнул дубиной в дверь. Мужики затаили дыхание.

— Кто здесь и чего вам нужно? — раздался приглушенный голос из церкви.

— Царские люди, — во благо соврал Степан, — по делу, игумена вашего надо.

— Отойдите, слуги антихристовы, — раздалось в ответ громко и повелительно, — оставьте нас, или мы сгорим!

Мужики с испугом глядели друг на друга.

— И сгорят, убей меня бог, сгорят! — рявкнул волосатый Арефа и снял шапку. Степана вдруг осенило.

— Думают, дураки, мы скит разорять пришли. Святоши заумные, дьяволы! — ругался он. — Упредить надо, кто мы И снова в дверь посыпались удары.

— Отцы святые, — взвыл Шарапов не своим голосом, — крестьяне мы, за древнее благочестие стоим, отопритесь бога ради, отцы святые!

В церкви все замерло. Прислушавшись, Степан еще с большей силой затарабанил в двери.

— Перепугаем старцев до смерти, — остановил Степана Малыгин, — и в самом деле сожгутся.

Неожиданно раздалось многоголосое громкое пение. Пели похоронное, берущее за душу.

Мужики застыли, открыв рты и выпучив глаза. Стало страшно.

— Дым! — в ужасе завопил Малыгин, указывая на стены церкви.

Из волоковых окон валил густой дым, клубами уходя в небо.

— Наташенька, голубка милая! — дико закричал Степан. — Ломай двери, братцы, разбирай стены!

— Со святыми упокой, — словно в ответ, донеслось из церкви.

Опомнясь, бросились с топорами мужики. От многих рук подались толстые бревна стен, затрещала тяжелая дверь.

Но огонь в церкви быстро разгорался. Длинные языки пламени лизали тесовую крышу, пламя

охватило купол.

С ликованием мужики вытащили из стены первое бревно. Но радость была преждевременной: из провала посыпалась щебенка. Святые отцы церквушку ладили крепко, в две стены, закладывая между ними камнем.

Пение в молельной прекратилось. Теперь кричали страшно, дико. Запахло жареным мясом.

Бросив бесполезную работу, мужики кинулись к двери и, словно тараном, вышибли ее. Огонь и дым вырвались из церкви. Поливая друг друга водой, мужики храбро кинулись в полымя. Длинными баграми вытаскивали человеческие тела, кучей лежавшие на полу. Те, что лежали сверху, обгорели, обуглились, а внизу — задохнулись от дыма.

В наступившей темноте ярко пылала церковь.

С полсотни человек удалось вытащить на двор. Немногие ожили на чистом воздухе. По счастью, ветра не было. Мужики не дали выгореть скиту. А церковь, рухнув, сгорела дотла.

Степан, оборванный и мокрый, с опаленной бородой, метался среди спасенных, разыскивая Наталью.

В одной из келий мужики отыскивали трясущихся, потерявших от страха язык большака Сафрония, дородную начальную матку Таифу и трех соборных старцев. Среди них был Аристарх.

Глава двадцать вторая

НА РАЗБИТОМ КОРАБЛЕ

Когда затихли выстрелы, Иван Химков, укрытый деревянными обломками, поднял голову. С палубы брига доносились крики, хрипящая ругань. Матросы, повиснув на реях, ставили паруса. Бриг медленно разворачивался; набрав ветра, корабль рванулся вперед, оставляя за собой пенящиеся струи.

Первый выстрел пиратской пушки ранил Химкова. Рухнула сбитая ядром мачта; тяжелый парус накрыл кормщика, и он вместе с обломками рангоута вывалился за борт. Химков не видел, как пираты перебили его товарищей, не помнил, как выбрался на поверхность, как держался на воде, уцепившись за сломанный рей. Взрыв пороховой бочки вернул Химкову сознание.

«Все кончено, — подумал он, — погибла лодья».

Но смертельно раненный «Святой Варлаам» остался на плаву. Пушечные ядра не смогли потопить лодью, шитую вицей и деревянными гвоздями, да вдобавок с пустыми трюмами.

Иван Химков видел, как быстро удалялся пиратский корабль. Потонул за горизонтом зеленый корпус, ушли в воду и рубка и мостик. Потом вместо высоких мачт с большими парусами виднелась маленькая белая точка. Но и она быстро растаяла в морской дали.

Взор Химкова с надеждой обратился к лодье, искалеченной, свалившейся на один борт. Казалось, лодья приближалась к нему, вернее, ветер наносил кучу бревен и досок на «Святой Варлаам». Обломки мачт и рей, спутанные такелажем и разодранными парусами, вместе с Химковым медленно двигались вдоль борта. Перед глазами кормщика возникли рваные

закраины дыр, глубокие царапины, отставшие доски обшивки.

«Как попасть на корабль? Кабы не раненая рука... Покричать разве? — мелькнула мысль. — Ребята помогут».

— Э-гей! — крикнул Химков. — Отзовись.

Но все мертво на лодье. Только море шумит да тоскливо кричат чайки... Он крикнул еще раз. Опять молчание.

Стуча зубами от холода, пересиливая боль, Химков ухватился за толстую веревку, свисавшую с кормы, и забрался на палубу.

Но лучше бы ему не видеть того, что открылось глазам. На залитых кровью, расщепленных ядрами досках неподвижно лежали его товарищи.

Шатаясь словно пьяный, трясущимися руками он ощупывал их безжизненные тела. Тут были не все, кто остался с ним на лодье. «Надо искать, скорее искать», — проносились бессвязные мысли. Он оглянулся: толстое дерево бизань-мачты свалилось набок; на верхней рее ветер трепал мокрые отяжелевшие обрывки парусов; на самой корме кучей лежала рваная парусина; черной змеей извивался спутанный смоляной трос.

Химков бросился в свою каюту. Но и она разрушена начисто. Вся кормовая часть лодьи была затоплена и глубоко сидела в воде. Сорванный с крючев руль с громким стуком бился на волне о кормовые обводы.

— Тут порох рвали, — догадался Химков. Нос судна пострадал меньше, он выступал над водой выше, чем отяжелевшая корма. В поварне, где жили промышленники, все разбито и разбросано; на полу валяются открытые поморские сундуки. Все, что можно было унести, разворовали пираты. Химков посмотрел на пустые койки. «Вот здесь за тонкой перегородкой, — вспомнил он, — спал Егор Ченцов с рыжим веселым внуком Федюшкой. А здесь у камелька коротали свободное время молодые носошники Семен Городков и богатырь Степан Ружников...»

Химков вернулся на палубу. Он должен выполнить священный долг — похоронить мореходов. Привязав к ногам убитых по тяжелому камню, Иван запел поморскую погребальную, но слезы мешали ему. Снова и снова повторял он печальные слова.

— Студеное море, — так и не закончив молитву, сказал Иван, — прими мореходов, детей своих. Простите, други...

И вот он снова сидит один в поварне...

Черная тоска охватила Ивана, зачем он живет, одинокий, затерянный на разбитом корабле в бескрайнем Студеном море? Какие муки ждут его впереди?

В тяжелых думах прошло немало времени. Ему вспомнился далекий Грумант. Как живой, встал перед глазами суровый отец, поднялся из небытия богатырь Федор; Степан, весело улыбаясь, говорит ему что-то теплое, хорошее.

— Но ведь я один, — будто споря, повторял Иван Химков, — один ведь!.. Наташа, — позвал он громко и испугался. Знакомое, близкое имя прозвучало чужим, далеким. Безвинная смерть товарищей потрясла Химкова, отодвинула все остальное куда-то далеко, за пределы настоящего.

Вот он встrepенулcя, потер рукой лоб, посмотрел вокруг себя. Страшной, безысходной казалась действительность...

Но жизнь предъявляла свои права. Проснулся голод. Неодолимые силы бытия заставили его подняться, действовать. Порывшись в хламе, валявшемся на полу, Химков нашел половину соленой трески и несколько ржаных сухарей.

Едва утолив голод, он почувствовал страшную усталость. Бросив кусок оленьей шкуры на уцелевшую койку, Иван свалился и тут же уснул как мертвый.

Целые сутки проспал Химков, а проснувшись, не стал прикидывать, много ли у него надежды на спасение, — его мучила жажда, он думал только о воде; потеря крови и соленая треска давали себя знать. Снова Иван стал шарить по ларям в поисках съестного. В боковой кладовке он нашел несколько полузасохших хлебов, внизу под поварней непочатую бочку ягоды морошки... В нижней кладовке сохранился не тронутый пиратами плотничий инструмент и немало корабельных гвоздей. Эта находка ободрила Химкова.

«Поглядим, чья возьмет, полдела с топором-то», — радовался он, оглаживая надежное мужицкое оружие.

Пришли мысли о починке лоды. Конечно, исправить «Святой Варлаам», вернуть его в строй было невозможно, но кое-как залатать дырявый корпус, спасти корабль от затопления в штормовую погоду Иван был в силах. Помочь лодье продержаться на воде как можно дольше — сейчас это было самым главным.

В раздумье Химков поднялся на палубу. Он посмотрел на потемневшее небо, обвел взглядом далекий горизонт. На западе тучи приняли страшный штормовой облик. Погода портилась.

— Бережись, Иван, — сказал Химков сам себе, — надо торопиться. Ежели погодка прихватит, недолго твоя дырявая посудина поплывет.

Особенно беспокоила Химкова большая, в аршин, рваная пробоина; нижним краем она почти касалась воды. Не откладывая дела, он принялся мастерить беседку, необходимую для работы за бортом. Потом выбрал три широкие доски, обрезал их, просверлил дыры для деревянных гвоздей. Одному работать тяжело, но упорство и настойчивость всегда побеждают. Заколов последний деревянный нагель и проконопатив пазы, он отдыхал с радостным чувством человека, избежавшего ценой тяжелого труда грозной опасности.

Но что это? Иван вздрогнул от неожиданности, ему почудилось, будто лает собака. Лай доносился с левого борта. Бросившись туда, он увидел разбитый, опрокинутый вверх дном карбас. По широкому днищу, заливаясь лаем, метался пес Дружок.

— Дружок, пес ты милый, — позвал Иван, радуясь собаке, словно товарищу, — подожди, вытащу...

Он остановился и протер глаза. Теперь ему казалось, что он видит бледное лицо человека, рыжую бороду, руку, вцепившуюся в разбитое днище карбаса.

— Сеня, Городков! — Иван чуть не прыгнул от радости за борт. — Неужели?! Да, это Семен, — глянул он еще раз, — живой?!

Химков бросился к якорному вороту, схватил лежавший там багор и ловко подцепил крючком толстую шерстяную куртку Городкова. Он подтянул ближе неподвижное тело и, собравшись с силами, выхватил Городкова на палубу. Семен не дышал. У него раздроблена правая голень, рассечен лоб, весь он в синяках и ссадинах.

Долго возился Химков, стараясь привести в чувство друга, окоченевшего, наглотавшегося соленой воды. И когда всякая надежда была потеряна, веки Семена вздрогнули. Он вздохнул раз, другой, на лице появилась жизнь. Открыв глаза, он уперся мутным, бессмысленным

взглядом в Химкова.

— Иван Алексеевич, — прошептал Семен, — ты?

Напрягая мозг, он старался вспомнить, что же случилось. Неожиданно лодью сильно качнуло. Семен покатился к другому борту. Дико вскрикнув от боли, он снова впал в беспамятство.

Грозно хмурилось небо. Громадные волны гнались друг за другом, шумно опрокидывая пенистые гребни. Мелкой водной пылью туманился горизонт. Непогода всюду раздувала мехи, грозно набирал силу ветер.

Химков решил спрятать товарища в поварне; набегавшие волны грозили снести их обоих с палубы. Плотнo закрыв крышку люка, он раздел Семена, заботливо уложил на койку, укутав сухим одеялом. Химкову пришлось крепко привязать товарища. Лодью качало, больной перекатывался с боку на бок, а каждое движение причиняло нестерпимую боль. Он метался в жару, бредил, кричал, ругался. Иван старался помочь страдальцу. С трудом держась на ногах, он промыл раны, вытер соль, кристаллами выступившую на его лице, прикладывал к пылающему лицу холодные тряпицы, давал пить сок моченой морошки.

Всю ночь ревело море. Всю ночь, словно щепку, бросали волны полузатопленную лодью. Лишенный мачт, разбитый корпус то тяжело оседал и покрывался водой, то поднимался над волнами, и тогда с палубы стремительно скатывались шумные водопады.

Трое суток не утихала погода. Несколько раз Семен приходил в сознание, просил пить и снова впадал в забытие. Химков почти не надеялся на спасение. Каждый сильный удар волны грозил разрушить корабль. Сквозь щели палубы в поварню проникала вода, журча и плескаясь в кромешной тьме, она еще больше удручала кормщика. В это страшное время Химков не чувствовал голода, раз в сутки он с трудом разжевывал черный сухарь, запивая глотком ягодного сока.

На четвертый день ветер успокоился. Утром, открыв глаза, Химков увидел яркий свет. Солнечные лучи вливались узкими полосками сквозь щели палубного люка. Городков спал, тяжело и часто дыша. Спертый сырой воздух давил грудь.

Химков открыл крышку люка, сразу стало легче. Он выбрался на палубу, влез на обломок бизань-мачты, внимательно стал оглядывать горизонт: не покажется ли парус проходящей лодьи? Но тщетны надежды — паруса не было.

Вернувшись в поварню, он удивился. Семен сидел под люком и, упершись спиной в лестницу, точил свой нож.

— Ожил, — обрадовался Иван, — а я думал...

— Спасибо, Иван Алексеевич, без тебя... — Семен благодарно взглянул на Химкова. — Дьяволы, что с ногой сделали, боюсь, загниет. — Он попробовал острие ножа на пальце. — Дак решил отрезать... — Городков перетянул жгутом ногу выше колена и подвинулся ближе к свету.

— Помоги, Иван Алексеевич, поддержи ногу-то. — И Семен спокойно стал отделять ножом суставы разбитой голени. — Вот и все, — сказал он с горькой улыбкой, вытирая запотевший лоб.

Затишье недолго баловало мореходов. Опять поднялся ветер. Волны снова и снова перекатывались через палубу лодьи. Медленно шло время в темной поварне. Дни и ночи смешались...

Однажды страшный удар разбудил Химкова. Хлестнули палубу брошенные ветром тяжелые

брызги. Над его головой с грохотом прокатились соленые потоки. Лодью швырнуло в сторону, стремительно повалило куда-то в пропасть... Взвизгнув, бросилась на грудь Химкову перепуганная собака. Точно проливной дождь ворвался в поварню: пазы на палубе раздались, и вода текла как сквозь решето.

В непроглядной тьме, вцепившись в борта койки, сжавшись в смертельной тоске, Иван ждал конца. Но лодья и на этот раз выдержала. Вздрагивая, словно большое испуганное животное, она медленно выходила из пучины.

Остальные валы были меньше, удары слабее. Сон больше не приходил. В голове Химкова, словно в бреду, стремительно и бессвязно сменялись воспоминания, вставали картины прошлого. Время шло, слух стал улавливать какие-то странные звуки: не то журчала вода, не то кто-то плакал жалобно, точно ребенок. «Неужто Семен?» — не понял Химков.

— Семен, — позвал он, — ты что?

Все стихло. «Показалось», — подумал Иван. Но приглушенные всхлипывания раздались снова.

Химков придвинулся вплотную к товарищу, ласково провел рукой по вздрагивающей спине.

— Сеня, что горевать, брось. Вернемся ежели, помогу, не оставлю в беде. Городков шевельнулся.

— Федюшка, — прохрипел он, словно чья-то рука сдавила ему горло, — Федюшка... Ваня, — вдруг страстно заговорил Семен. — Я по пьяному делу табак забыл в городе купить, мучился все без табака-то. Так он, так он: «Дяденька Семен, говорит, не тужи, я тебе табачку принесу, у немцев на бриге выпрошу».

— Городков всхлипнул. — В прошлом годе дружок мне рассказывал, — снова стал он шептать. — В Питере на купецком новоманерном судне зуйком плавал. Мучили его матросы, били зря, терпел, говорит, все... И случилось так, пропал у боцмана золотой... Ты слышишь, Ваня? И он сказал на зуйка. Послушали матросы боцмана, решили наказать килеванием за воровство. Мальцу шестнадцать лет в те поры было... На коленях просил, перед иконой клялся — не поверили... Так и протащили под килем на веревке. Как жив остался — один бог знает... Страшное он мне за чаркой поведал, не стерпел зла, ночью боцмана топором зарубил... Сказать тебе, Ваня, и пьян я был, а не мог с убийцем сидеть, ушел и дружбу бросил... Не мог лютоści понять... А сейчас, сейчас, Ваня, — Городков заскрипел зубами, — понял, через Федюшку понял. И плакал я от лютоści, — с дикой страстью говорил он, — боялся, в живых не останусь, боялся, некому будет за Федюшку горло тем зверям перегрызть.

Горячая волна охватила Химкова. Страстные слова друга зажгли его душу.

— Отомстим, Сеня, за Федюшку, за всех отомстим. Невинного кровь — беда; отомстим. — И он крепко обнял товарища.

Еще не раз вода потоками заливала поварню, но друзья не замечали яростных атак разбушевавшегося моря. Прижавшись друг к другу, они говорили о том, что волновало их сердца.

— А почему, Ваня, — шептал Семен, — каждая копейка, каждый кусок хлеба нам во как приходится? Гляди, зимой мы во льдах погибали. А что заработали? Хворобу на старость... А сейчас от вражьей руки мученья принимаем. Живы будем, опять домой с пустыми руками, а дети пить-есть хотят. Мало им моря, — гневно говорил Семен, — живи, радуйся, зверя промышляй, рыбу лови — всегда сыт будешь. Так нет, не хотят разбойники честным трудом

жить, все чужбину хватают.

Шло время. Ветры и течения носили в безбрежном Студеном море разбитую лодью. Друзья бережно расходовали свои запасы, их хватило на двадцать дней. Вторые сутки Химков был без воды. Последний раз он отдал свою долю — ложку ягодного сока — другу. Семен поправлялся медленно, нога гноилась и болела. Потеряв много крови, он с трудом восстанавливал свои силы.

А море было спокойно. Лодья плавно покачивалась на небольшой волне. Только небо было темное, осеннее.

— Дождика бы! — молил Химков, с надеждой глядя на черные тучи.

Но дождя не было. К полудню показалось солнце, небо очистилось, и последняя надежда утолить жажду исчезла. Вдали показались фонтаны. Киты прошли совсем близко от лодьи. Солнце отсвечивало на блестящих, словно отполированных спинах животных. С сожалением Химков проводил взглядом китовое стадо. Точно дразня мореходов, из воды показалась усатая круглая морда нерпы, еще одна. Тяжело вскинулась большая рыба. И тут, глядя на нее, пришла спасительная мысль.

Умелые руки Ивана быстро смастерили удочку, и в тот же день несколько больших головастых рыб оказалось на палубе «Святого Варлаама». Попадалась треска. Друзья ели ее сырой — огня не было. Высасывая из сочной сырой мякоти влагу, они утоляли жажду.

Через три дня пошел дождь. Подставив под холодные струи большие куски брезента и обрывки парусов, Иван собрал целую бочку воды. Теперь мореходы не унывали и крепко верили в спасение. Эта уверенность удесятирала их силы.

Прошло еще две недели. Семен чувствовал себя гораздо лучше, простая, но свежая пища хорошо помогла здоровью. Дружок тоже окреп и ожил, весело носился по палубе. Одно мучило мореходов — холода. Без огня в долгие темные ночи было трудно согреться. Как скучали они по вечерам о теплой печке, о миске горячего супа! А холода с каждым днем делались все злее и злее.

Проснувшись как-то утром, Химков заметил на горизонте белую полосу льда, а на ней широкой полосой отсвечивало белесое ледяное небо. Лодейный остров, гонимый ветром, медленно приближался к ледяным полям. Кормщик не знал, радоваться ему или печалиться. Что готовит судьба в холодных льдах?

На палубу вышел Семен и тоже стал смотреть на белую полосу, она понемногу ширилась, уходила вдаль. Вот и высокие торосы выступили на льду, затемнели покрытые льдом снежницы. Но что это? Во льдах Семен увидел что-то необычное. Он вздрогнул. Опять посмотрел. Нет, зрение не обмануло.

— Ваня, — чуть слышно сказал Семен, — чужие паруса!

Непримиримую злобу услышал Иван в его голосе и сразу понял, о ком говорит друг.

Теперь и Химков увидел паруса зажатого льдами корабля. Это были паруса хорошо знакомого мореходам брига с зеленым корпусом.

Глава двадцать третья

ДЕМЬЯНОВА ТОПЬ

Рассвет только начался. На восходе вспыхнули первые краски утренней зари. В лесной чаще шумно завопили птицы; из кустов шиповника бодро прозвучала первая залихватая трель и внезапно оборвалась. Лесной певец словно испугался: не рано ли?

И вдруг со всех сторон разом зацокало, засвистело, защебетало пернатое царство.

На поляну вышел бурый медведь. Переваливаясь и волоча лапы, он оставил блестящий ярко-зеленый след на траве, поседевшей от росы. Зверь медленно пересек поляну и скрылся в ольшанике. Из кустов долго слышался треск и недовольное сопение.

Тревожно заклохтала куропатка, из травы выпорхнул испуганный кулик... Вильнув рыжим хвостом, прошмыгнула лисица.

Утренний воздух неподвижен. Чуть-чуть шевелится низкий туман над застывшим озером. Над туманом темнеет спина большого лося. Голова зверя не видна, он то ли дремлет, то ли пьет студеную воду.

Еще дальше, над обширной Демьяновой топью, тоже стелется туман. Он прятал таящие гибель вязкие, коварные трясины. Из тумана, словно из глубокого снега, торчали верхушки небольших худосочных елей, березок и кустов ольшаника.

На другом берегу, заросшем дикой смородиной, играют волчата. Растянувшись на траве, худая волчица спокойно глядит на забавы щенят.

Вдруг мать насторожилась, встала, втянула вздрагивающими ноздрями лесные запахи. Ее острые уши зашевелились, шерсть вздыбилась. Зверь был худ и страшен. Летняя шкура торчала клочьями. Чуть не до земли свисали оттянутые соски.

К западу от Демьянова болота над вершинами деревьев поднимались черные клубы дыма: там горел большой костер.

Сняв с огня дымящийся котелок, у костра расположились два человека — Егор и Потап Рогозины. Мужики завтракали, черпая деревянными ложками жидкую кашу.

Положив голову на лапы, тут же лежал их верный Разбой.

Все ярче и ярче разгоралась заря.

В лесной тишине раздались дружные удары топоров. Прошумев листвой, валились на землю молодые березки. Встревоженное воронье с резким криком поднялось над лесом.

Топоры без устали стучали до самого полдня.

Панфил Данилыч Рогозин послал сыновей разведать железную руду по болотам. А случится найдут — накопать и поставить в кучи для просушки. Работа предстояла тяжелая, не на один день, и братья решили строить жильё — немудреный шалаш из березовых жердей, крытый зеленым дерном.

Поработав вдосталь, братья сели передохнуть и по-харчить. Насытившись, утерев губы, старший — Егор — вынул кисет, расшитый стеклянными бусами, и стал неторопливо набивать трубку.

— Маловат будто дом, — жуя ржаной хлеб и запивая квасом, заговорил Потап.

— По нужде десятерых спать уложишь, откровенно говоря, а нас двое, — отозвался брат. —

Для ча хоромы-то?

— Найдем здесь руду, — продолжая жевать, спрашивал Потап, — как мыслишь?

— Как бог даст, — хрипел трубкой старший. — Найдем, надо быть. Самое для руды место. Окрест по болоту краснота выступает.

Братья посидели молча. Егор курил, Потап наклонился к своему любимцу Разбою и ласково почесывал собаке за ушами.

— Отмяться бы скорее, от комаров сгибнешь, — снова вступил в разговор Потап.

— Десять дней здесь жить, откровенно говоря, раньше дела не управишь, — ответил старший. Он встал, с хрустом потянулся. — Начнем, братан.

Братья принялись вырезать из земли большие пласты дерна и укладывать поверх плотного ряда жердей. Дело не тяжелое, но кропотливое. Совсем обвечерело, когда мужики закончили работу.

Утром братья принялись искать руду. Рудознатцем был Егор. Острым еловым колом он тщательно прощупывал землю. С силой втыкая кол в травянистую почву, Егор прислушивался: руда издавала характерный шуршащий звук. Вынув свое орудие, он долго рассматривал приставшие частицы почвы, мял их пальцами и пробовал на вкус.

Обойдя без малого десятину и взяв сотню проб, Егор позвал брата.

— С удачей, братан, — говорил он, показывая в горсти красноватую глину, — откровенно говоря, похвалит за руду отец.

Егор снял с вспотевшей головы шляпу и с маху надел на кол.

— Давай лопаты быстрее! — Его обуял искательский задор.

Мужики расчистили небольшую площадку от дернового слоя. И Егор стал копать руду, набрасывая ее в кучу.

— Потап, — радостно вскрикнул он, присев на корточки, — мощна рудица-то! — Он отмерил на лопате пальцами толщину рудного слоя. — Две четверти, тик в тик. Откровенно говоря, теперь можно попу молебен заказывать, — весело пошутил Егор.

Пес, спокойно лежавший на солнышке, стал шевелить ушами, подняв морду и раздувая ноздри. Вдруг он вскочил и, повизгивая, бросился к ногам Потапа.

— Что, зверя почуял, эх ты, Разбой-разбойник! — приласкал собаку Потап. — Зверя много в лесу, иди отселя, ложись.

Но Разбой не уходил. Он залаял. Лаял он по-особенному — жалобно, взвизгивая и подвывая.

Видя, что на него не обращают внимания, пес покружился возле Потапа и вдруг пулей помчался прочь. Добежав до ближних зарослей ольшаника, Разбой еще раз обернулся и с громким залиvistым лаем скрылся в кустах.

— Разбой, сюда. Разбой! — закричал Потап. Но пес не вернулся. Лай быстро удалялся, стал едва слышным и вскоре совсем затих.

— Не на зверя пес побежал, — задумавшись, проговорил старший брат, — привык он к зверю. Ежели только знамого человека почуял...

— Похоже на то, — ответил Потап. — Да кому здесь быть?.. Отец разве? — Он вынул небольшой компасик, висевший в кожаном мешочке у пояса. — Нет, в другую сторону Разбой побег.

Пес долго не возвращался. Потап не выдержал.

— Неладно, брат, — воткнув в землю лопату, сказал он. — Боюсь, пропадет Разбой. Жалко пса.

— Откровенно говоря, собака умней бабы, — рассудительно ответил Егор, посматривая на кусты, — на хозяина не лаает. — Он опять закурил, пуская густые клубы дыма.

Вскоре Разбой прибежал. Он весь был перепачкан в грязи и какой-то пахучей гнили. С отрывистым лаем прыгал пес возле хозяев, порывался вновь бежать и снова возвращался. Братья недоумевали.

— Эге, — вдруг бросился к собаке Потап, — дай-ка, Разбой.

Он схватил пса и снял у него с шеи нитку матовых белых бус. Это было ожерелье из мелкого жемчуга, обычное украшение почти всех девушек Поморья и Карелии.

— Смотри, — Потап протянул брату жемчуг. Егор попятился.

— Чур нас от всякого лиха, — испуганно сказал он. — То лешего утеха.

— Чем бояться чертей, лучше бояться людей. От лешего, брат, мы обиды не видывали, а вот от человеков... Эх, Егор, срамно: на медведя один ходишь, а лешего испугался. А ежели девка либо баба в беду попала, нам знак подает? Смотри, Разбой куда тянет...

Пес, не переставая лаять, то кружился у ног братьев, то бросался им на грудь, всячески стараясь привлечь внимание.

— Как хочешь, брат, а я пойду. — Потап подтянул штаны, взял пищаль, заткнул за пояс топор.

Егор тоже стал молча снаряжаться, и скоро братья с баграми в руках шли за собакой. Радостно лая, Разбой бежал впереди, часто оборачиваясь, словно сомневаясь, впрямь ли хозяева идут за ним. Осторожно ступая, мужики медленно пробирались по зыбкой почве.

— Помогите, погибаем, — чуть слышно донеслось из глубины болота. — Помогите!

— Бабы в болоте тонут, — ускоряя шаг, бросил Потап брату. — Эх ты, леший!

Но Егор был другого мнения. Он любил каждое дело прощупать со всех сторон.

— А ежели лешак заманивает? Тут до беды недолго, топи кругом. Страшное место.

Братья продолжали двигаться, оглядывая каждый кустик, каждый бугорок. Голоса, зовущие на помощь, делались громче и громче.

Наконец увидели людей. Две девушки в черных сарафанах с узкими, длинными рукавами, простоволосые, смешно подстриженные в кружок, истошно кричали и махали руками. Братья побежали.

Разбой бросился к одной из девушек и, радостно скуля, принялся лизать лицо и руки.

— Наталья, — узнал Потап, — зимой у нас гостила, Наталья! — закричал он и бросился бежать, не разбирая места.

— Берегись, Потап, — орал вдогонку брат, — пропадешь!

— Наташа, милая, зачем здесь? — тяжело дыша от бега, спрашивал Потап. Испугавшись своих слов, он густо покраснел и смолк.

— Спасите, человек погибает, — умоляла Наташа, — спасите! Потапушка, — вдруг признала девушка и, протянув ему руки, зарыдала.

Подошел Егор и тоже хотел поздороваться с Наташей, но вдруг остолбенел.

Взгляд его упал на торчавшую из воды голову. Всклокоченные длинные волосы, синее лицо, выпученные страшные глаза...

— Леший, — охнул Егор, пятась и крестясь, — спаси и помилуй! — Он дернул Потапа за рукав. — Оборотни заманивают, — зашептал он, побледнев.

Встреча была такой неожиданной, а голова в болоте так страшна, что даже Потап заколебался.

Видя замешательство братьев, вступилась Прасковья.

— «Оборотни заманивают!»! — презрительно сказала она дрожащим от холода, и страха голосом. — Дурень, а еще мужиком прозывается. Да разве собаки к оборотням ластанся! Вот тебе крест святой, на вот, смотри. — Девушка стала креститься. — Хватит, что ли? — зло сказала она. — Теперь человека спасайте.

Мужики успокоились, посветлели лицами.

— Как его угораздило-то, — все еще недоверчиво спросил Егор, кивнув на торчавшую голову.

— Провалился, — со слезами сказала Наталья. — Совсем было в трясине утоп, да дерево внизу попало. На цыпках стоит, омертвел: боится, обломится сук-то.

— М-да, — посмотрел Егор на страшные глаза, на синее, помертвевшее лицо.

— Ежели деревья приволочь, тогда разве... бежим, Потап, — спохватился он, и мужики бросились в ельник.

Срубив две небольшие елки, братья подтащили их к торчащей в трясине голове.

— Эй, человек, — крикнул Егор, осторожно подвигая очищенный от ветвей ствол, — хватайся, друг!

Над трясиной мелькнула рука, потянувшаяся к спасительной жерди.

— У-у-у-о-о-а! — раздался жалобный крик. Голова скрылась, показались на мгновение руки, судорожно сжимавшиеся и разжимавшиеся пальцы.

— Упокой, господи, раба твоего, — закрестилась Прасковья.

Мужики сняли шапки, заплакала Наталья... * * *

В шалаше было тепло и уютно. От зелени, устилавшей пол, пахло березовыми вениками. Мокрая женская одежда висела на протянутой вверху жерди. У двери снаружи горел костер. Распространяя аромат, истекая — жиром, на вертеле жарились четыре большие куропатки.

Полураздетые девушки, закрывшись березовой зеленью, грелись у огня.

Слово за словом поведала Наталья о всех своих невзгодах: о сватовстве Окладникова, о Химкове, об обмане родной матери. Рассказала и о ските.

Мужики слушали, затаив дыхание.

— Увидели мы собаку, — заканчивала свой рассказ девушка, — думали, волк, испугались. Смотрим, ластится. Вспомнила я тогда Разбоя. Придумали мы бусы ему на шею надеть.

— Из скита-то, девоньки, как ушли? — спросил Егор. — Ворота на запоре, откровенно говоря, у ворот сторож.

— Спал привратник, — объяснила Наташа. — Намучились мы в лесу. Мужик-то наш, Долгополов, на чеши сидючи, совсем обессилел. Да и умом, видать, тронулся. Прасковьюшка, поди, с полдороги его на плечах волокла. До болота дошли, отдыхаем, а тут Илья вовсе ума решил. «Не могу, говорит, больше ждать, мне самого императора Ивана Антоновича, дескать, спасти надо». И пошел напрямик по болоту...

— Н-да, история, откровенно говоря, — сказал старший брат. — А ты, Прасковья, откуда? — с любопытством спросил он.

Пришел черед и Прасковье поведать свою судьбу.

— Вот какие дядья на свете есть, изверги, — отозвался Потап. — Твой-то, значит, так решил: девку в монастырь, а себе отцово достояние?

— Ах, урви ухо, сучий сын, такую девку в монастырь, — Егор посмотрел на могучие плечи, на высокую грудь Прасковьи. — Да я б ему, откровенно говоря... — Егор, разгорячась стукнул кулаком по слеге. Шалаш заходил ходунам.

— Ну ты, осторожней, медведь! — прикрикнул на него брат. — После драки кулаками махать нечего. Говори, что с девками делать?

Долго сидели молча, думали.

— Вот что, — решил наконец Егор, — откровенно говоря, ежели девки нам помогут да и мы поспешим, в пять ден все дела управим — и домой. Из нашего дома до Каргополя недалече. В Каргополь Наталью проводим...

Девушки с радостью согласились.

— А Прасковью куда? Дома оставим? — пошутил Потап, лукаво прищурился.

— Довольно языком болтать, — огрызнулся брат, — высоко еще солнце-то. Откровенно говоря, седни много еще сделаем. Одевайтесь, девки, — бросил Егор, поднимаясь.

Глава двадцать четвертая

СЛЕДОПЫТ

Степан все еще сидел в скиту, надеясь хоть что-нибудь выведать о Наталье Лопатиной. На следующий день после пожара общежительные братья и сестры, оставшиеся в живых, понемногу пришли в себя, и Степан начал розыск. Он опросил всех, ничего путного не добившись. Одно стало ясным — в день пожара никто не видел Наташу.

Старик привратник сначала отнекивался.

— Знать не знаю, ведать не ведаю. Никто не уходил, никто не приходил, — упрямо твердил он.

В это время женка Якова Рябого, Пелагея, ходившая по кельям смотреть, как живут бабы в скиту, принесла Степану кусок плотной бумаги.

— Смотри-ко, мореход, белицы в Натальиной келье нашли, говорят, тут все прописано.

Это был чертеж морского хождения к землице Грумант. Степан заинтересовался. Там, где надлежало быть надписи, значилось четкой славянской вязью: «Жить невмоготу стало. Ушли из скита вместе с Прасковьей Хомяковой да с Ильёй Долгополовым, что сидел на чеши. Лучше в лесу сгибнем, чем здесь пропадать. Наталья Лопатина».

Обрадованный Степан снова взялся за привратника.

— «Никто не уходил, никто не приходил!»! — передразнивал он старика. — А трое из скита сбежали...

— Винюсь, не вмени оплошку за грех, прости, — захныкал старец. — Заспал я, иначе слышал, как засовом гремели. Проснулся, да поздно. А сказать не посмел. Боялся гнев на себя навести. Крутенек на расправу отец Сафроний, ох как крутенек.

— Мне прощать тебя нечего, — ответил Степан. — Покажи-ка лучше, отец, погреб, где у вас человек на чеши сидел. Пойдем, Яков, взглянем.

Дверь в землянку оказалась открытой настежь. Сафроний, нахмурясь, рассматривал чеши. У стенки жались оставшиеся в живых старцы. Они охали и ахали на все голоса.

— Утек злодей, — стонал Аристарх, — что теперь киновиарху скажем?

— Семь бед, один ответ. — Сафроний волосатой рукой перебирал ржавую чеши.

— Перепилил, аспид, чеши... А напилек свой человек дал, вот что, отцы любые, страшно, — плутоватые глазки игумена забегали.

— Эхм, ех, — скулил нарядчик, — в моленную бы его, крамольника... Ему бы с праведными в царствии небесном куда бы как хорошо. Оплошку брат городничий дал.

Сафроний укоризненно взглянул на испуганное лицо отца городничего, но смолчал.

Степан осмотрелся. С деревянных стен почерневшего сруба сочилась гниль. Все было покрыто плесенью. Каменный стол и каменные лавки блестели, отшлифованные узником. Вместо постели еще три камня, покрытые полустертой кожей. Оконце маленькое, выходило к глухой стене коровника. В углу из дикого камня и глины сложено подобие небольшой чеши.

Степан сунул руку в рванину, лежавшую на постели, и тотчас с отвращением отдернул — там копошились вши.

— Злодеи, — сдерживая кипевшую ярость, сказал Степан, — по какому праву живого человека мучили? Отвечай, большак! — От гнева лицо Степана покрылось красными пятнами.

— А где твоя правда в скиту спрашивать, а? — выступил вперед Аристарх. Его борода тряслась от злости. — Может, по слову государыни правож учинишь, а? Колодники, рваные ноздри, нет вам в скиту места.

— Здесь наша большина, — спокойно сказал Яков Рябой, — не моги супротивничать. Ишь, святые, начудодеяли, людей сожгли, а сами целы. У нас разговор короткий, — оборвал он, — враз плетей попробуешь.

— Плетей?! — взвизгнул Аристарх, размахивая высохшими руками. — Поцелуй пса во хвост, табашник, еретик... Я те порву поганую бороду!

— Чужую бороду драть — своей не жалеть, — все так же спокойно ответил Яков. — А что, Степан, — посмотрел он на товарища, — проучить разве? Хоть жаль кулаков, да бьют же дураков.

В глазах Рябого зажглись волчьи огоньки. Надулись жилы на загорелой шее. История принимала крутой оборот.

— Пстой, пстой, друг, — отстранил Рябого Петрай. — Я сам поговорю. Тебя отцом Аристархом кличут? — строго спросил он у старца.

— Тебе что за дело, насильник?

— А вот что: худо, где волк в пастухах, а лиса в птичниках. Марфутку-то помнишь? Старик отшатнулся.

— Что молчишь, али горло ссохлось? Ну-кось, дерни меня за бороду. — Малыгин выставил свою рыжую лопату. — Дерни, праведник, — наступал он на старика. — Ах ты, распутный бездельник, чтоб ты сгорел, проклятый! — плюнул ямщик, видя, что Аристарх спрятался за грузного большака. — Зацепи-ка еще Марфутку, тады живым не уйдешь.

Мужики засмеялись. Гнев отошел от сердца.

— Довольно тебе, Петрай, — вмешался Степан Шарапов, — поговорил, и ладно. Святым отцам и без нас вдосталь по шеям накладут...

Малыгин, мореходы и Яков Рябой вечером угощались хмельным медом. Большак Сафроний, желая задобрить мужиков, приказал выкатить из погреба две большие бочки.

— Степушка, — обнимаясь, говорил захмелевший Рябой, — не кручинься, друг. Ты море знаешь, а я в лесу хитер. Найду Наталью. Не сумлевайся, вот те Христос, найду. По такой погоде след долго стоит.

— Спасибо, Яков, — растрогался Степан. — Ежели Наталью найдем, последнюю рубаху для тебя скину. Жених в море, на меня вся надея. Понимаешь?

— Жалею, не кончил подлого старика, — бубнил свое Малыгин. — Марфутка-то...

— Голодная лиса и во сне кур считает, — с досадой сказал Степан. — Надоел, паря.

Петрай пригорюнился, облокотился о стол и запел неожиданно тонким, жалобным голосом:

Приневолила любить

Чужу-мужную жену.

Что чужа-мужна жена —

То разлапушка моя.

Что своя-мужна жена —

Осока да мурава,
В поле горькая трава,
Бела репьица росла,
Без цветочиков цвела...

— Эх, ребята, заскучало ретивое, душа горит!..

Мужики погуляли славно. Общежительная братия то ли с горя, то ли от большого поста и долгого воздержания веселилась круто. Долго скитницам пришлось отмаливать грехи, долго они вспоминали веселых мужиков.

Утром Яков Рябой не забыл своего обещания. Встал он раньше всех, с петухами, и, разбудив Степана, сказал:

— Пока спят, пойдем след Наташкин искать.

Степан без слов поднялся.

Окунув головы в ушат с водой и поеживаясь от утренней прохлады, мужики вышли за ворота.

— Эй, сторож, не спишь? — подмигнул мимоходом Степан привратнику. — Ну-к что ж, я ведь так, — добавил он, видя, что старик всполошился.

Яков Рябой по-собачьи шарил по траве. Он часто пригибался, ковыряя пальцем землю. Дул на примятую траву, разглядывал каждую травинку.

— Нашел, — радостно закричал Яков, — вот он, след! Степан кинулся на зов.

— Смотри здесь, Степа, вот мужик босой шел, хромал на левую ногу, с поволочкой шаги-то, сразу видать, чепь долго носил. Правой ногой шибко приминает, а левой чуть. А вот сапожки девичьи — махонькие, с подковками. А третий в лаптях, тяжеленек шаг-то, — объяснил следопыт.

— Это девка Прасковья, — обрадовался Шарапов, — про нее и в письме писано.

— Видать, в теле девка, вишь, как трава примята и травинки в землю вдавлены. Мужичок не тяжел — кость одна весит.

Яков Рябой увлекся и, сверкая глазами, все говорил и говорил.

Степан с удивлением посматривал на товарища «Вот те и молчальник! — думал он. — Словно подменили человека».

У деревянного раскольничьего креста о восьми концах Яков остановился и полез в кусты.

— Ну-тка, Степан, гляди. — Он громко засмеялся, радуясь словно ребенок. — Здесь утра дожидались, — объяснил Яков, березу на постелю ломали. Мужик сухари ел, смотри, крошки. Девка лапти переобула. Чистые онучи надела, а старые, вон они. — Он указал на тряпки, висевшие на сучке. — Женки здесь вместе лежали. Теперь буди мужиков, похарчим — и в лес, — сказал Яков, поднимаясь с колен. — Никуда от нас Наташа не уйдет. Так-то, мореход.

Степан воспрянул духом. Надежда найти девушку теперь не казалась ему далекой и смутной, как раньше... * * *

Солнце только поднималось из-за горизонта, а мужики уже брели по болоту. Точно волчья стая, шли цепочкой, один за одним, след в след. Иначе ходить не решались. Один неверный шаг на топком болоте мог стоить жизни. Впереди уверенно вышагивал Яков Рябой.

На следующий день в полдень, ни разу не сбившись с пути, Яков привел отряд к месту гибели Долгополова. На сухом бугорочке нашли разбитую глиняную кружку, обрывок веревки, несколько размокших ржаных сухарей и голубенький кружевной платочек. Вокруг все было притоптано и примято.

Каждую вещь Яков ощупывал своими руками. Он долго бродил по болоту, что-то разглядывая. Заметив кусочки красной земли, приставшие к свежей щепе, он удовлетворенно хмыкнул. Яков спросил товарищей:

— Ну-тка, смекаете, мужики?

— Смекать-то смекаем, Яков Васильич, истинно так, — почесывая затылок, за всеш ответил Гневашев, — да ты лучше сам объясни.

Лицо Якова стало грустным.

— Сгиб в болоте хромой, — сказал он, вздохнув. — Пришлые мужики-рудознатцы, двое их было, девок спали. Видать, они недалече руду ковыряют, девки к ним пошли... Собака с мужиками была, — помолчав, добавил Яков.

— И што таперя? — опять спросил Гневашев.

— В гостях скоро будем, вот что.

Через час Яков привел мужиков к зеленому домику искателей братьев Рогозиных. Здесь их ждало разочарование — ни в шалаше, ни поблизости людей не было. Шалаш окружали участки развороченной земли, раскиданные пласты свежеснятого дерна, кучи красноватой болотной руды.

В очаге еще тлел огонь. На видном месте хозяева оставили для пришлых странников каравай ржаного хлеба, целого копченого глухаря и немножко соли в берестяном лоскутке. У входа торчал шест с болтавшейся на ней тряпкой — знак, что хозяева вернутся.

— Где были, там нет, где шли, там след. — Яков с досадой бросил оземь шапку.

— Ну-к что ж, — ответил обескураженный Степан, — видать, планида нам догонять вышла. Вокруг носу вьется девка, а в руки не дается. — Он присел около очага и, захватив рукой уголек, закурил трубку.

— Делать нечего, мужики. По-темному не пойдешь, отдохай, — скрепя сердце решил Яков. — А ты, Фома Гневашев, дозорным встанешь.

Глава двадцать пятая

НА МАЧТЕ СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Среди ночи мореходы проснулись от сильных толчков, сотрясавших лодью. В темноте да

второпях они тыкались во все углы и не сразу нашли люк на палубу. Ругаясь, потирая ушибы, мореходы выбрались из темной поварни.

Ночь была ясная, звездная. Яркая полная луна покрыла серебром колыхавшееся море, а льды, освещенные ее мертвым светом, казались не настоящими, какими-то плоскими, будто обструганными под рубанок. Сбитая ветром кромка льда шевелилась; качаясь, взбрасывая фонтанами воду, льдины с грохотом бились друг о друга.

Встретив сплоченные льды, волны шумели, словно прибой у скалистого берега. Покачиваясь, тяжелые льдины задевали корпус «Святого Варлаама», били и толкали его.

Кормщик понял: жить кораблю осталось считанные минуты. Надо выходить на лед, и выходить как можно скорее. Удары покачивающихся на волнах льдин опасны для корпуса самого крепкого корабля. А «Святой Варлаам», потрепанный жестокими ударами судьбы, едва держался на плаву. Еще один-два хороших толчка, и корпус его развалится, как поленница дров.

Но и выйти сейчас на лед не простая задача, особенно для калеки Семена. Однако выбора не было.

— На лед! — крикнул Химков. Нырнув в поварню, он сорвал со стены икону, заткнул за пояс топор и ринулся наверх. Огромная льдина поднялась над водой, оголив свои острые закраины, и, качнувшись, рухнула вниз. Затрещала, застонала лодья... В эти минуты смертельной опасности только отчаянная смелость могла спасти жизнь моряков.

Химков первый перескочил на льдину. Едва держась на широко расставленных ногах, он успел подхватить поскользнувшегося товарища. Когда ледяной обломок, на котором спаслись мореходы, снова поднялся на волне, они увидели во льдах жалкие деревянные остатки.

На вторую льдину Химков с Семеном перебрались благополучно. Удерживаясь на скользкой поверхности баграми, помогая друг другу, они медленно двигались по качающимся, грохочущим льдам.

— Везет нам, Семен, — сказал Химков, перейдя через опасную ледяную кромку, — видать, бог не без милости, а мореход не без счастья. Не пропадем.

— Говори: господи подай, а сам руками хватай, — отозвался Семен, тяжело дыша, — дальше-то что будем делать?

— На бриг надо идти, — Химков махнул рукой туда, где виднелись мачты, — все равно у нас и огня нет, и жрать нечего. Таково наше дело, что идти надо смело.

— Пойдем, — согласился Семен. Он был радостно возбужден. Ковыляя на костыле, Семен не отставал от Химкова; мысль о мщении окрыляла его, вливая новые силы.

На пути встречались гревшиеся на солнце нерпы и тюлени. Морские жители любопытно поглядывали на людей, но не боялись их, не уходили в воду.

«Не пуган зверь, — отметил про себя Химков. — Неужто на бриге нет людей?»

Одолев половину пути, друзья присели отдохнуть. Дружок, спокойно улегшийся было у ног Семена, насторожился и злобно зарычал. Посмотрев на корабль, мореходы увидели дымок, курившийся над палубой. Они молча переглянулись.

— Вернемся, а? — нерешительно спросил Химков.

— Ты как хошь, а я пойду, — не глядя на друга, ответил Семен. Он поднялся и, поправив

пояс, сделал первый шаг.

— Сподручнее, Сеня, вдвоем-то, — тихо отозвался Химков, шагнув вслед за ним.

И друзья снова пошли по льду, направляясь к пиратскому кораблю. Они шли молча до самой встречи с людьми.

Обойдя большой торос, мореходы увидели двух чужеземцев: матросы сидели с удилами в руках у большой промоины. Бриг был совсем рядом — в двух десятках шагов. Мореходы остановились.

— Что за судно? — будто не зная, показал на бриг Химков. — Давно ли во льдах?

— Русский, — закричал один из ловивших рыбу, — русский мореход! — Он встал и подошел к поморам. — Я — Билли, — ткнул себя в грудь чужеземец. — Я знаю говорить по-русски. О, вы совсем худой! — изумился он, разглядывая мореходов.

Билли оказался словоохотливым парнем. Угостив поморов табачком, он рассказал, как шесть недель назад корабль попал во льды, как спустя две недели часть команды сбежала на единственной исправной шлюпке.

— Теперь нас осталось двенадцать человек, — закончил Билли, — мы не можем выбраться из этих проклятых льдов... — Пират грязно выругался.

Химков, в свою очередь, рассказал чужеземцам выдуманную им историю кораблекрушения.

— Только я, кормщик, и матрос, — он показал на Городкова, — остались в живых после ужасной бури.

— О, вы капитан! — обрадовался Билли. — Пойдемте на судно. Вы нам сможете оказать большую услугу.

— Пойдем, — согласился Химков, — поможем чем можем. Пойдем, Сеня! — Он пристально взглянул на товарища и незаметно пожал ему руку.

На паруснике было пусто и тихо. Поскрипывал рангоут, хлопали на ветру позабытые, ненужные сейчас паруса. От толчков льда корпус брига чуть вздрагивал. Палуба была грязная, неубранная. Повсюду царил беспорядок и запустение. Пират привел мореходов в матросский кубрик на носу брига.

Спустившись по крутому трапу, Химков осмотрелся. На грязных скамьях вокруг топившейся печки сидели люди. Пол был заставлен тяжелыми матросскими сундуками, бочками и ящиками. Початая бочка солонины распространяла крепкий дух. На столе в медных подсвечниках горели две оплывшие свечи. Валялись пшеничные сухари, объедки снеди.

Химков шагнул к столу. Опираясь на костыль, рядом встал Городков. Бледные, худые, дико заросшие волосами, они мало походили на живых людей.

Одноглазый толстяк в бархатном жилете и нелепой куртке с золотым шитьем долго рассматривал поморов.

— Н-да, — наконец произнес он, — ты говорил с ними, Билли?

— Это русский шкипер, — ответил матрос, кивнув на Химкова. — Они потерпели кораблекрушение. В живых остались только двое.

— Шкипер?! — Одноглазый подпрыгнул на табуретке. — Это меняет дело... Вы можете

вывести наше судно из льдов? — обернулся он к Химкову. — Билли, переведи. Вы будете нашим шкипером до первого английского порта. Мы дадим, — он посмотрел на матросов, — жалованье вперед. Так, ребята? — Увидев на лицах пиратов согласие, боцман вытащил кошелек.

— Пятьдесят золотых гиней, — говорил он, звеня монетами. — Недурно, а?

Двенадцать пар глаз впилась в Химкова. Он молчал, раздумывая, как быть. Его душила дикая злоба. Иван вспомнил все: гибель товарищей, смертельные муки, голод...

— Ну, говори! — В голосе Одноглазого послышалась угроза. — Если нет, то... — Он запнулся, встретив спокойный взгляд синих глаз Химкова.

— Я согласен, — твердо ответил он, — ежели будет мне повиновение, я выведу корабль. Перескажи им, Билли... Но где ваш шкипер? Неужто он покинул бриг?

Матрос перевел. Боцман снова переглянулся с товарищами.

— Ладно, мы согласны, — пробурчал он, — капитан всегда капитан... Так, ребята?

Послышались одобрительные восклицания. Матросы оживились. Боцман отсчитал пятьдесят гиней и спрятал в кошелек.

— Берите, сэр. — Он проводил жадным взглядом в карман Химкова каждую монету.

— А теперь покажите господину капитану его каюту... ты, Билли. — Боцман злорадно ухмыльнулся. — Х-ха, там он узнает, что случилось с нашим дьяволом.

Вслед за Билли на палубу поднялся Химков. Постукивая костылем, тяжело взобрался по лестнице Семен. Когда шаги поморов стихли, одноглазый обернулся к матросам.

— Х-ха, мы отвернем ему голову, как только самый зоркий из нас увидит черный материк. Так, ребята? Европейские порты не очень-то подходят сейчас для нашего корабля. Мы могли без убытка положить в карман этому парню все наши гиней. Х-ха, капитан, пусть командует. — Толстяк самодовольно выпятил живот, расстегнув три верхние пуговицы на жилете. * * *

— Сюда, сэр, — показал Билли на дверь капитанской каюты.

Химков толкнул дверь. Из темной каюты пахло густым смрадом. Пересиливая отвращение, мореходы вошли.

Привыкнув к темноте, глаза Химкова стали различать предметы: вот стол, на столе истрепанная морская карта, пустая бутылка из-под рома, огромный парик с бантом на косичке. У потолка — клетка с дохлой заморской птицей. Все ящики выдвинуты, дверцы шкафов распахнуты, содержимое разрыто, выброшено на пол. «Вверх дном все перевернули, искали, видать, что-то», — догадался Химков.

В углу из-под коечной занавески торчали грязные ботфорты. Химков откинул шторы и застыл от неожиданности: на койке лежали разложившиеся останки капитана Томаса Брауна. Труп был прикручен к койке крепкой смоленой веревкой.

— Собаке собачья смерть, — плюнув, сказал Семен. — Не угодил своим. Что ж, одного подлеца сбросим со счета... Смотри-ка, Ваня! — С отвращением приподняв подушку, он вытащил два длинных пистолета. — Теперь не с пустыми руками.

— Исправны! — радостно отозвался Химков, осмотрев оружие. — За это ему спасибо, — кивнул он на мертвеца, — уберег.

На палубе собралась команда. Пиратам не терпелось увидеть, чем окончится шутка боцмана, как поступит русский капитан. «Наверно, он будет кричать, ругаться», — посмеиваясь, рассуждали они. Но позабавиться не пришлось.

— Билли, — приоткрыв дверь, распорядился Химков, — убери дрянь из моей каюты!

Через минуту он поднялся на мостик и как ни в чем не бывало стал разглядывать лед в большую подзорную трубу.

Разочарованные матросы, поеживаясь на холодном ветру, быстро разошлись. Убирать каюту и прислуживать новому капитану боцман послал негритенка Цезаря. В прошлом году капитан Томас Браун выменял его на Западном берегу за десять серебряных колокольчиков и пять коралловых бусин.

Мореходам впервые довелось увидеть настоящего негра.

— Черен, как смертный грех, — говорил Семен, с любопытством разглядывая его круглое лоснящееся лицо, широкий нос, толстые губы. — Глянь-ка, Ваня, — осторожно тронув курчавые волосы негритенка, позвал он — что твой войлок волосья и гребень не возьмет...

Мальчик, увидев, что его новые хозяева ничуть не сердятся, весело улыбался, сверкая белыми зубами. Он оказался на редкость смышленным и сообразительным. С одного взгляда негритенок тотчас догадывался, что от него хотят.

На следующее утро Иван распорядился прибрать корабль. Обалдевшие от безделья пираты весело взялись за дело. Мусор, скопившийся за много дней, полетел за борт. Палубу выскребли, вымыт, убрали паруса, привели в порядок такелаж.

Химков придирчиво следил за уборкой, залезая в каждую щель, осматривая каждый парус, каждую веревку. Вместе с тем он знакомился с кораблем. Ведь ему никогда не приходилось плавать на таких судах. Заметив оплошность, Химков делал строгие замечания.

— Да, сэр, будет исполнено, сэр, — то и дело слышалось на палубе.

— Х-ха, он совсем неплохой моряк, — получив очередной выговор, шепнул боцман длинновязому Майклу — с ним держи ухо востро.

Еще два дня матросы собирали лед и вытаивали из него воду. Химков показал им, как отличить старый пресный лед от солоноватого, негодного для питья. Под конец Одноглазому велели починить потрепанные паруса. Несколько дней провозились матросы с парусиной, орудуя нитками, иглками, гардаманами.[16] А боцман, короткий и толстый, важно расхаживал по палубе.

В ящике под койкой Химков нашел большой медный окант. Пираты с завистью смотрели, как русобородый шкипер мерил высоту Полярной звезды и что-то вычислял на бумаге. Определить место в море, где находится бриг, он, конечно, не мог, но знать хотя бы одну широту было необходимо.

За две недели, проведенные на бриге, мореходы окрепли, вошли в тело. В кладовке Брауна хранилось вдоволь белых галет, варенья, сливочного масла, копченой свинины и много других полезных вещей. Негритенок готовил вкусные обеды и ужины; по утрам мореходы наслаждались сладким горячим кофе.

В свободное время Семен учил негритенка говорить по-русски, и Цезарь, к великому удовольствию учителя, быстро запоминал слова.

Как-то ночью ударил мороз, посыпал мелкий колючий снег. Проснувшись, помрачневшие

пираты с беспокойством поглядывали на покрытые снегом льды. Но Иван был спокоен. Если переменился ветер, он обязательно расшевелит льды. Так и случилось. Лед, окружавший бриг, ожил, начал двигаться, там и сям показались узенькие полоски воды. Наступило время действовать. И тут Химков показал свой опыт и знания. Он заставил протянуть вперед корабля крепкие пеньковые тросы, их крепили на ледовых якорях и выхаживали шпилем.

Корабль медленно двигался между льдинами; ему помогали топорами и баграми, вырубая и расталкивая лед. Пираты, те, что выхаживали тросы, затаили песню, ее подхватила вся команда:

Наши утлые шлюпки

Сорвала волна,

И сказал Капитан удалой:

— Будет плакать моя

Молодая жена.

В эту ночь она станет вдовой!..

Химкову такая работа была не в диковинку. Он умело распоряжался, показывая и помогая сам, где было трудно. А невеселая матросская песня продолжала раздаваться в холодных льдах:

Мы работали дружно,

Тонули мы врозь —

Это было

Судьбой суждено.

Уцелевшего бота

У нас не нашлось,

И пошли мы

На темное дно, на дно, на дно,

За русалкой

На темное дно.[17]

Вечером бриг «Два ангела» вышел из льдов и под дружный победный клич команды закачался на чистой воде. Пираты ликовали.

Семен Городков не принимал участия в работе. Нахмурившись, грозно посматривая на пиратов, он ходил по палубе, постукивая костылем. Много ночей он ложился спать с

подозрением на товарища.

— Все в порядке, сэр, — доложил боцман, вместе с переводчиком Билли появившись перед Химковым, — судно готово к плаванию, сэр!

— Поставить все паруса.

— Будут ли встречаться еще льды, сэр? — спросил боцман уже за порогом.

— Да, льдов в море много, — осторожно ответил Иван, — скоро увидите сами.

Поднявшись на мостик, Химков внимательно присматривался к работе матросов. Стоя на реях, они ловко управлялись с грубой парусиной. Бриг медленно набирал ход.

— Курс юго-запад, — скомандовал Химков. — Заглянув в компас, он подождал, пока судно легло на курс.

— Так держать! Курс на юго-запад, — еще раз повторил он.

— Да, да, — обрадовано отозвался боцман, — на юго-запад, хороший курс. — Немного потоптавшись возле рулевого, он ушел.

Дул ровный и сильный северо-западный ветер. Корабль шел правым галсом, вполветра, все ускоряя и ускоряя ход. Не глядя на расступившихся перед ним матросов, Химков прошагал к трапу и спустился вниз.

— Экая холодная ночь! — сказал он, войдя в каюту и потирая руки.

Семен Городков ничего не ответил. Лежа на узком диванчике, он хмуρο глядел в потолок.

— Иван Алексеевич, — помолчав, зло сказал он, — выходит, ты так: попал в стаю, лаешь не лаешь, а хвостом виляешь? Не ждал я такого... Куда мы? В Африку? Тьфу, как ты им веры дал! Кончат они нас, злодеи...

— Сеня, да я... — Химков посмотрел на дверь и понизил голос: — Окромья Архангельска, я никуда... Откажись я тогда — душу бы вынули. Задумал я... — Иван нагнулся совсем близко к товарищу. * * *

На баке отбили восемь склянок. Четыре часа утра, совсем темно, на небе видны все звезды. На руле сменились матросы. Из кубрика раздалась звучная перебранка. И опять тихо.

С однообразным рокотом покорно расступается море под острым форштевнем брига. Изредка в борт с громким всплеском ударяют волны. Мерно поскрипывает рангоут, сердито свистит в снастях ветер.

Около пяти часов сон особенно крепок. Хлопнула дверь капитанской каюты. На мостик вышел Химков. Постукивая костылем по ступенькам трапа, вслед за ним взобрался Семен Городков.

Рулевой обернулся. Увидев на мостике шкипера, он снова принялся ворочать штурвал: поворот вправо, полповорота влево.

Химков стоял, сжав топор, не решаясь подойти к пирату.

— Ваня, пора, — зашептал Городков, заметив колебания друга. — За Федюшку, помнишь? Не пожалели мальчонку, — жарко выдохнул он, скрипнув зубами. — За наши мучения, Иван Алексеевич, милый, душа горит! Топор, богом прошу. — Семен протянул дрожащую руку.

— На. — Химкова самого била лихорадка. Схватив топор, Городков с маху ухнул рулевого.

— Становись на руль, — хриплым, чужим голосом сказал Химков. Ухватив под мышки неподвижное тело, он спихнул его в море. За бортом тяжело всплеснулась вода, и опять все стихло.

— Я пойду, — придя в себя, шепнул Химков, — крикну — поворачивай. Все, как говорено.

Городков согласно кивнул. Осмотрев спрятанные за пазухой пистолеты, подозревая Дружка, Химков осторожно спустился вниз. Неслышно ступая по палубе, он пробрался на бак и закрыл засовы люка в матросский кубрик, обрезал крепления запасной грот-стенги и привалил ею крышку люка. С обоих концов Иван привязал тяжелую стенгу к железным кольцам, ввинченным в палубу.

— Давай, Сеня! — раздался его взволнованный голос.

На повороте громко захлопали паруса. Иван Алексеевич бросился к брасам. Выбиваясь из сил, обдирая кожу на ладонях, он с трудом справился с парусами. Курс на юго-восток! Теперь полный ветер гнал корабль вперед.

— Паруса, эй! — крикнул первый проснувшийся в кубрике.

Дрессированные матросы, услышав хлопанье парусов, мигом скатывались с коек. Переругиваясь спросонья между собой, они полезли по трапу. Люк на палубу оказался закрытым... Раздались проклятья, одиннадцать здоровенных мужиков ревели, словно дикие звери. В крышку люка посыпались удары.

— Эй, зверье! — крикнул Химков, подойдя к вентилятору.

Голоса внизу смолкли.

— Я, Иван Хамкав, — с глухой яростью сказал он, — кормщик потопленной вами лодыи «Святой Варлаам», повернул бриг в Архангельск.

Отборные ругательства градом посыпались на голову Химкова. Крышка люка задрожала от сильных ударов.

Иван, не раздумывая, сунул пистолет в круглую дыру вентилятора и спустил курок. Внизу кто-то отчаянно завопил. Матросы горохом посыпались с трапа, раздались ответные выстрелы. Но люковую крышку больше не трогали: лестница очень хорошо простреливалась через вентилятор.

— Ежели вздумаете бунтовать, — дрожа от ярости, крикнул Химков, — всех перестреляю, как собак бешеных!

Внизу молчали.

— Дружок, — приласкал собаку Иван, — сидеть! — Он показал на крышку. — Сторожи, понял, Дружок?

Пес завилял хвостом и уселся на палубе возле люка.

Бриг «Два ангела» птицей летел по новому курсу. Ветер набирал силу, гнул мачты.

На востоке, облака оделись в пурпур. Светлело. Начинался день.

В каюте негритенок с воплем бросился к ногам Химкова. Он видел все, что произошло, и, обливаясь слезами, умолял не убивать, пощадить его.

— Я нет. Я хорошо, — повторял он русские слова, глядя на Ивана ясными умными глазами.

В суматохе Химков совсем забыл про негритенка. Что с ним делать? Все это время мальчик честно прислуживал кормщику и его другу. Вместо зуботычин и проклятий новые хозяева дарили его лаской и теплым вниманием. Негритенок всей душой привязался к поморам. Но теперь, когда враги стояли лицом к лицу, на чьей стороне он окажется, как поступит, не будет ли помогать тем, в кубрике... Можно ли ему верить?

— Боцман плохо, я буду бить, — негритенок, дрожа всем телом, выхватил нож и всадил его в стенку каюты.

— Ладно, Цезарь. — Химков погладил мальчика по курчавой голове. — Ладно, ты с нами...

Первые лучи утреннего светила озарили белые паруса брига. Вспыхнула, заискрилась далекая, через все море, огненная дорога. И корабль, весь залитый кровавым светом, стрелой неся вперед, казалось, прямо к солнцу.

Глава двадцать шестая

ВСТРЕЧА

Сон да дрема на кого не живет! Задремал и дозорный Фома Гневашев, а когда проснулся — было поздно. Солдаты в смешных шапочках и коротких куртках крутили ему за спину руки. Плохо соображая спросонья, Гневашев громко закричал, предупреждая товарищей.

Но императорские егеря, захватив врасплох спящих мужиков, не теряли времени даром; отбиться, убежать не удалось никому. Мужиков обезоружили и согнали в кучу.

В егерские части солдаты подбирались молодые, ловкие — не чета старым служакам из каргопольской крепости. И одеты они были легко и удобно: вместо сабли и тяжелой котомки, отягощавших гарнизонных солдат, егеря носили в портупее короткий штык и на поясе — патронташ. Закаленные суровой военной выучкой, они не страшились тяжелых походов по лесам и болотам.

Отряд поручика Васильчикова больше двух недель гонялся за старцем Амвросием, разыскивая скит Безымянный; солдаты сбились с пути и случайно наткнулись на спящий лагерь Якова Рябого. Рассвет только начинался. Нехотя отступали серые, угрюмые сумерки. Тяжелый ночной туман пронизывал все живое холодом и сыростью. Потухавший, костер курился легким, чуть заметным дымком.

Мужики стояли жалкие, растерянные, понуриив головы. Якова от бессилия душила бешеная злоба. Удивленно глядели серые глаза Степана Шаропова. Петряй Малыгин застыл с раскрытым ртом. Громко плакал от злой досады Гневашев.

Рядом с шалашом на гранитном валуне сидел офицер с веселыми глазами, в железной кирасе, отороченной по краям красной кожей, и беззаботно помахивал хлыстом. Собираясь чинить суд и расправу, поручик хлебнул из походной баклажки изрядную порцию согревающего и сейчас был в отличнейшем настроении.

— Давай, ребята! — нетерпеливо крикнул он солдатам.

Первым к нему подвели ямщика Петряя. Поручик с любопытством оглядел пленника.

— Каких краев, кто таков, братец? — звонким голосом спросил офицер.

— Олонецкий, Челмушской волости, господин офицер, а ныне в городе Архангельском ямщиком у купца.

— Раскольник?

— Никак нет, православный, никонианец.

— А ну, перекрестись.

Малыгин истово щепотью перекрестился.

— Двадцать палок, — неожиданно приказал офицер. Солдаты потащили Петряя в сторону.

— За что, господин офицер, — уперся Малыгин, — в чем вина? Ежели крестился неладно...

— Крестился хорошо, братец, а по лесам без дела бродишь, вот что плохо. Зачем в этих местах? Малыгин, склонив голову, молчал.

— Идем, мужичок, — тащили солдаты Петряя, — благодари господина поручика за доброту. Другой бы на палки не поспешил, отсыпал бы сотни две.

— Меня нельзя бить, — вдруг всполошно закричал Малыгин, — не по закону! На мне боярское звание.

— Что, что, — вытаращил глаза офицер, — боярское звание?

— Да, я боярин, — волновался Петряй, — и бумагу имею. — Он расстегнул ворот, торопясь разорвал кожаный мешочек, висевший на гайтане, и подал офицеру сложенную вчетверо бумагу.

— «...Царский указ, — читал поручик, — ...за услуги, оказанные царице Марфе в бытность ее... род Малыгиных пожалован боярским званием в 1615 году...» Что за черт! — удивился он, прочитав бумагу. — Я думал, император Петр отменил боярское звание... А тут боярин, боярин-мужик... Анекдот! — На молодом открытом лице офицера проступило откровенное любопытство.

— Боярин?! — вдруг прыснул от смеха Фома Гневашев. — Боярин... с твоей рожей сидел бы под рогожей... Нос курнос, рыло дудкой, а рот жемачком, истинно так.

Мужики и солдаты, глядя на Петряя, засмеялись.

— Наша деревня, — продолжал Гневашев, — рядом с ихней. — Он кивнул головой в сторону Малыгина. — Там все мужики бояры, а бабы — боярьши; и друг друга боярами кличут, истинно так. — Фома снова засмеялся.

К поручику подошел чиновник господин Толоконников, сопровождающий отряд. Худой, в черной одежде, с черным бантом на косичке парика, с длинным хрящеватым носом, он походил на старого ворона. Поручик с излишней самоуверенностью относился ко всем штатским, а господина Толоконникова презирал. За две недели совместных странствий вряд ли они сказали друг другу больше двух десятков слов. Но если обычно поручик относился к чиновнику с холодной вежливостью, то навеселе он вовсе не скрывал своих чувств.

— Господин поручик, — наклонившись к офицеру, сказал Толоконников, — действительно, мужики Чалмушской волости были удостоены еще царем Михаилом Федоровичем боярского звания. Указ действителен и поныне.

— Ну, братец, удивил, — не замечая чиновника, помотал головой поручик, — а прав, к особам

твоего звания палки применять негоже! Однако объясни, братец, боярин Петр, почему ты в здешних лесах оказался?

— Дозвольте обсказать, господин поручик, — видя растерянность товарища, выступил вперед Степан. — Я всему причинен...

— Говори, — согласился офицер. — Одно помни: атаману палок вдвое отсчитаю. Ты кто таков, тоже боярин?

— Я мореход, — с гордостью ответил Степан, — всю жизнь по Студеному морю хаживал. Смотри. — Он снял шапку, обнажив белые, как снег, волосы. — Страстей немало видывал, а под палками николи не был, думаю, не доведется. В леса идти нужда заставила.

Шарапов спокойно и понятно рассказал о поисках Натальи, о своих похождениях, предусмотрительно умолчав про монастырские дела. О ските Степан расписал как мог подробнее. Офицер слушал внимательно. Его заинтересовали романтические похождения морехода.

Да и сам Степан, спокойный, полный достоинства, ему понравился.

— Ну и дела... А мы скит этот самый ищем, с ног сбились. Говоришь, игумен ушел от гари? А не слыхал про старца Амвросия? Высокий старикашка, злой, как дьявол.

— Нет, не слыхал, — подумав, уклонился от истины Степан. — Разве расскажут старцы, крепки на язык-то, клещами слова не вытянешь. А вам, господин офицер, хоть и недалеко, самим отселя до скита не дойти, в болоте сгибнете.

Офицер больше не спрашивал. Поигрывая хлыстом, он молча сидел на камне.

Сбившись в кучу, окруженные солдатами, ожидали своей участи оборванные, прозябшие мужики. Поодаль, прислонившись к березе, стоял чиновник с бледным злым лицом.

«Отпущу, — думал офицер. — Мне не поручали ловить всех беглых мужиков в лесу. Они свяжут руки. Да и небезопасно держать два десятка озлобленных людей. Их надо кормить, а запасы провизии ограничены. Кроме того, эта Демьянова топь... — Он посмотрел на хмурые лица своих пленников. — Заведут ведь, дьяволы, нарочно в болото заведут. Нет, лучше подобру, по-хорошему».

— Что вы хотите делать с мужиками, господин поручик? — проскрипел в ухо Васильчикову чиновник.

— Да отпустить их к лешему, — последовал ответ.

— А если среди них опасные преступники? — зашептал чиновник. — Здесь, в этих северных лесах, бунтарские шайки вьют себе гнезда, сюда стекаются беглые... Для тайной канцелярии представит несомненный интерес хотя бы вот этот мужик, вы только посмотрите на его зверскую рожу, — едва заметно кивнул он на Якова Рябого, — было бы весьма благоразумно доставить его в Петербург и...

— Это не входит в мои обязанности, господин Толоконников, — холодно ответил поручик, перестав играть хлыстом.

Лицо чиновника оставалось неподвижным, но ноздри хрящеватого носа вздрогнули.

— Советую вам подумать, господин поручик. Граф Чернышев говорил...

— Не знаю, что говорил вам граф. У меня есть свои начальники, господин Толоконников! — с

раздражением воскликнул офицер. — И своя голова в придачу!.. Вот что, братцы, — обернулся он к мужикам, — вины за вами не знаю, идите с богом, ищите невесту... Кто из вас знает дорогу в скит, пойдет с отрядом.

— Спасибо, господин офицер, премного благодарны, — не скрывая радости, загалдели мужики на разные голоса.

Все были довольны решением поручика — и солдаты и мужики. Пленникам развязали руки.

— Фома, тебе поводырем, — сверкнул глазами Яков Рябой на Гневашева. — Не твоя бы сонная рожа... — тихо добавил он, показывая кулак.

Поручик поднялся с камня. Оправил кирасу, подтянул ремни.

— Вперед, ребята! — раздалась звонкая команда. Мужики, хмурые, молчаливые, смотрели, как один за другим скрывались солдаты в густом ельнике.

— Н-да, веселый барин, — мрачно ухмыльнулся Яков, — в загуле; понравился ты ему, Степан, не то плетей да чепей не миновать... Вперед наука нам, дуракам: как куропатей, руками взяли... Что ж, ребята, пожую хлебужка да в путь. — Он показал мужикам на вершины деревьев, гнувшиеся от ветра. — Торопиться надоть, полуночник взялся, гляди, и зима скоро пожалует.

Ветер гнал туман. Осыпались последние пожелтевшие листья; в лесу стало пусто, неприветливо. Осеннее, беспросветное серое небо хмуρο глядело сквозь голые ветви деревьев. Грустно чернели пустые вороны гнезда на березах. Ударили зимние холода. Мужики мерзли в плохонькой одежонке, старались согреться в быстрой ходьбе. Те, кто был босиком, обернули опухшие ноги в мешковину. С охотой в пути было плохо; питались ржаными сухарями, прихваченными из скита.

На третий день следы привели мужиков к небольшой речушке. По стволу толстой сосны отряд перебрался на другой берег.

— Дымком потянуло, — принюхиваясь по-собачьи, сказал Яков, — недалече жильё... Погреемся ужо.

Продвинувшись немного вверх по реке, мужики стали различать другие запахи, приятно щекотавшие обоняние.

— Убей меня бог, жратвой пахнет, — остановившись, сказал Петряй, — либо гусь, либо баран жарится. — Он с наслаждением несколько раз втянул в себя воздух.

Вот и жильё. Мужики увидели несколько строений: большую избу с крытым двором, баню, кузню и два-три сарая. Большая собака, похожая на волка, с громким лаем бросилась им навстречу.

— Здесь твоя девка, Степан, — уверенно говорил Яков, отмахиваясь от наседавшего пса. — Сходи в избу, узнай... Да спроси у хозяев пожевать чего. Ах, проклятая!

Собака, получив добрый пинок, с воем отскочила. На собачий лай из дома вышел широкоплечий парень с курчавой русой бородкой. Отозвав пса, он молча ждал Степана. В открытую дверь к мужикам доносились веселые голоса, удалая песня, звонкие переборы гуслей.

— Мир дому сему и живущим в нем, — поклонившись парню, сказал Шарапов.

— Спасибо, — отозвался парень, — живем помаленьку. — Он окинул настороженным

взглядом Степана и стоявших поодаль мужиков. — А вас куда господь бог несет?

— Девку ищем, — решил говорить напрямик Степан, — Наталью Лопатину, из скита ушла.

— Из скита? — пробурчал парень. Он колебался. — Не знаю таких...

В это время двери из горницы распахнулись. В сенях мелькнуло женское платье.

— Степушка! — раздался радостный крик. Сбежав с крыльца, Наталья остановилась. — Один ты? — Девушка обвела взглядом столпившихся мужиков.

— Ивану нельзя было, — ответил Степан, — меня за тобой послал, а сам на Грумант кормщиком. Да ты не бойся, Наталья, вернется к свадьбе-то, к покрову должен в Архангельском быть.

В сенях появился Панфил Данилыч, раскрасневшийся, немного навеселе.

— Прошу к столу дорогого гостюшку, — выслушав сбивчивые слова Натальи, кланялся он Степану. — Не обессудьте. Праздник у нас, сына старшего женю.

— Я не один, с товарищами, — ответил Шарапов.

— Всех за стол! — шумно радовался хозяин. — Бог на счастье гостей нам послал. Митрий, Потап, режьте барана... Не одного — двух! — распорядился он. — Девки, Наталья, Дуняша, Дарьюшка, кланяйтесь дорогим гостям, зовите к столу!

Поблагодарив хозяина, мужики шумно ввалились в дом.

За столом в большой горнице шло веселье. Радостные, счастливые, сидели Егор и Прасковья, прижавшись друг к другу.

Несколько дней, проведенных вместе с девушкой, решили судьбу Егора. Крепко задумал он жениться. Однако без отцовского согласия не смел сказать об этом Прасковье. Но девушка сама разгадала его заветные думы.

Выбрав время, когда никого не было дома, он подошел к Панфилу Данилычу, отдохавшему на лавке после обеда.

— Жениться хочу, — потупив голову, вымолвил Егор, — Прасковью желаю взамуж...

Панфил Данилыч весело взглянул на сына.

— Что ж, брат, пора, — ответил он, поднявшись и положив руку на плечо Егора. — Темечко-то у тебя давненько окрепло. Дело хорошее... Нашему брату лесовику без жены как без шапки. Ежели Прасковья в согласи, что ж, будем свадьбу играть. Я-то сразу за приметил, — хитро улыбнулся он, — огня, любви да кашля от людей не утаишь, брат!

И вот Рогозины празднуют помолвку старшего сына: пьют пенистое пиво, пляшут, поют веселые песни.

...Не скоро удалось выехать мореходам в Каргополь. Как ни рвалась Наталья свидеться с любимым, а пришлось дожидаться санного пути — другой дороги не было.

— Об это время нет дороги в наших местах. Октябрь ни колес, ни полоза не любит, — уговаривал Панфил Данилыч гостей не торопиться.

Но зима торопилась. Наступил ноябрь. Начались морозы.

Распростившись с гостеприимными хозяевами, поблагодарив мужиков-лесовиков, мореходы на двух розвальнях выехали по первопутку в Каргополь, напрямик через леса и болота.

Глава двадцать седьмая

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Бурливо и ветрено в Студеном море. Поздняя осень, поморские лоды давно разошлись по тихим становищам... Куда ни глянь, на пустынных просторах величаво и грозно вздымаются волны; ветер гонит над ними тучи, тяжелые, хмурые.

Торопится в Архангельск бриг «Два ангела». Стремительно взлетая на волнах, лихо накренясь, он несется стрелой, глотая милю за милей. Ветер неистовствует в снастях, насвистывая и завывая на разные голоса. Нагоняя корабль, шумные волны вкатываются на палубу и с рычанием уходят за борт.

Тяжело управлять парусником в сильный попутный ветер. Сосредоточив почти всю свою силу в парусах грот-мачты, ветер бросал бриг то в одну, то в другую сторону.

Мореходы с трудом удерживали парусник на курсе. Они сбились с ног, ворочая тяжелое рулевое колесо, хватаясь за шкоты и брасы. Натруженные, распухшие руки с сорванными до мяса ногтями отказывались служить.

С ненавистью, как на врагов, смотрел Химков на кормовые паруса. Но убрать их не по силам одному человеку.

Ночью кормщик направил стремительный бег парусника к гранитным утесам Святого Носа. Он изменил курс, взяв ближе к югу, и корабль шел теперь правым галсом. Мореходы вздохнули: можно было присесть, перебраться словом.

— Как вкопанный стал, не шевельнется с курса! — радовался Семен. — Ребятенка поставь на руль — справится... Сынишка, слышь, мой, — он улыбнулся, видно, вспомнив сына, — четырнадцать ему минуло, дак за милую душу... В прошлом годе в море брал... — Взгляд Городкова остановился на негритенке, с усердием начищавшем медную кастрюлю. — Ежели черномазого к рулю приспособить? — помолчав, спросил он. — Втроем способнее, глядишь, и поспать часок довелось бы... Слышь, Ваня?

— Почему не попробовать, — охотно согласился Химков. — Хоть и черен, а все человек... с понятием. В парусах толк знает, помогал.

Негритенка поставили к рулю, он волновался, как никогда в жизни. Благодарными глазами мальчик смотрел то на Химкова, то на Семена. Он оказался понятливым и способным учеником, и на вторую вахту кормщик доверил ему руль.

Ветер дул с неослабевающей силой. Для Ивана Алексеевича было ясно: нужно убавить паруса. Но мореходы вконец измотались, обессилели, и Химков махнул рукой.

«Выдержат, — думал он, все же с опаской поглядывая на натянутые как струны снасти, гнувшиеся и дрожавшие мачты. — А ежели не выдержат?»

Море и кормщик схватились в единоборстве.

Страшно было мореходам среди разбушевавшейся стихии. Тяжелые удары волн потрясали

бриг, яростные порывы ветра грозили изорвать в клочья паруса, сломать мачты. Страшно и вместе с тем радостно. Истые моряки, всю жизнь боровшиеся с морем, поморы будто слились с кораблем в одно целое; горящими глазами смотрели они, как бриг, обуздав могучие силы природы, бешено мчался вперед среди рева волн и завывания ветра.

Пожалуй, бригу «Два ангела» никогда не приходилось при капитане Томасе Брауне идти с такой скоростью. Сейчас корабль отсчитывал верных пятнадцать узлов.

— Хоть и хороша наша лодья во льдах да на зимовках, — не выдержал Семен, — однако на чистой воде далеко ей до брига. Сейчас вот катало бы лодью на волне, как бочку, а ходу чуть...

— Спору нет, — отозвался Химков, — ладно корабль сделан. — Он смотрел, как стремительно вздымался и опускался бушприт, как потоки воды заливали нос брига. — Как там пленники, живы?

— По мне, пусть сдохнут, разбойники, — отрезал Семен.

— Цезарь, сбегай спроси, не надо ли им чего, — сказал Химков, и, беря штурвал из рук негритенка, он показал на люк матросского кубрика.

Цезарь кивнул головой и умчался.

А внизу, в матросском кубрике, попавшие в ловушку пираты с тяжелыми от хмеля головами снова подняли руготню. Сегодня они были особенно возбуждены. Матросы галдели, орали, перебивая друг друга, готовясь пустить в ход кулаки.

Кубрик, освещенный колеблющимся светом сальной свечи, загроможденный койками и тяжелыми сундуками, выглядел мрачно. Табачный дым, окутавший людей едким густым облаком, затруднял дыхание. Кубрик, словно ящик на гигантских качелях, то стремительно поднимался вверх, то проваливался куда-то в пропасть. Пустой бочонок из-под рома, повинуясь качке, бешено шарахался из угла в угол, задевая ноги сидящих. Но разгоряченные спором пираты не обращали на это внимания.

— Ты, безмозглый кусок сала! — кричал боцману чернобородый португалец. — Ты хвастался своими подвигами на русском корабле. «Там остались одни мертвецы» — не твои ли это слова? А когда появился шкипер живой и здоровый с матросом в придачу, ты даже не узнал его. По-твоему, они вернулись с того света... Мертвые кусаются... — Португальца трясло от бешенства. — А виной всему негритенок, тринадцатый по счету среди нас. Я предлагал выбросить его за борт... Не ты ли, одноглазый дуралей, оставил его на корабле? Из-за тебя всем нам придется надеть пеньковые галстуки.

— Пеньковые галстуки?! — И боцман, до того спокойно слушавший португальца, привскочил. — Не думаешь ли всерьез, что русский шкипер с калекой-матросом смогут удержать бриг? — Глаз боцмана зажегся жестоким огнем. — Х-ха, я никогда не считал тебя умным человеком, Фред, но по крайней мере раньше ты не был трусом. Одиннадцать против двоих. Х-ха! — Боцман с презрением посмотрел на матросов. — Завтра бриг будет в наших руках... Ну-ка, Фред, — приказал он, — посмотри, ушел ли шкипер... Не может же он часами торчать у люка.

Португалец с мрачной подозрительностью взглянул на боцмана.

— Посмотреть? Я не родился, как ты, с серебряной ложкой во рту... Сам Деви Джонс не заставит меня это сделать.

Встретив тяжелый взгляд Одноглазого, Фред поспешил к лестнице.

— Эй, шкипер! — подвинувшись на три ступеньки, завопил он.

В ответ послышался яростный собачий лай. Португалец кубарем скатился с трапа. Пираты молча переглянулись.

— Х-ха, ты трусишь, как баба, Фред, — с презрением пробурчал боцман.

— Я просто осторожен, вот и все, — с раздражением ответил португалец. — Собака дает им знать и... Это все глупые выдумки. Боб. Поздно закрывать конюшню, когда жеребец украден.

— Х-ха, это ровно ничего не значит, ребята, — спокойно сказал Одноглазый.

— Я придумал кое-что похитрей... Мы поставим телегу впереди твоего жеребца, Фред. Все дело в том, чтобы там, — он указал большим пальцем кверху, — не догадались о моем плане... Слушайте...

Пираты сдвинулись, тесным кольцом окружив своего предводителя.

План боцмана был прост и остроумен. Он хотел пробить ход в толстой переборке, отделявшей носовой трюм от кубрика.

— Пусть они сторожат со своей собакой здесь, а мы выйдем на палубу в другом месте, и тогда... — Одноглазый с торжеством посмотрел на своих товарищей. Он сидел важный, надувшись, как рыбий пузырь.

Пираты разразились бурными воплями радости. Собака на палубе опять громко залаяла.

— Тише, дурачье! — прикрикнул боцман. — Провалите дело.

Боясь привлечь внимание мореходов, пираты молча начали ковырять ножами неподатливое, твердое, как камень, дерево. Работали по двое, остальные отдыхали. Работали с остервенением, рассчитывая на скорую удачу.

— Капитан Браун не пожалел денег на дерево, — ворчал боцман, — такие доски делаются только крепче с годами... Н-да, свело пальцы, ребята, — пожаловался он и несколько раз сжал и разжал кулак.

Работа двигалась. Прошло несколько часов. Пять толстых обрубков дерева лежали на полу.

— Еще один такой кусочек, и даже Боб протащит в трюм свое сало, — шутил португалец.

К утру путь в трюм был открыт. Одноглазый зажег фонарь и первый полез в темную дыру.

— Эй, мистер Боб! — раздался неожиданно голос с палубы.

— Это Цезарь, — прошептал суеверный португалец. — Проклятый негритенок, путается под ногами...

Матросы с опаской глядели то на боцмана, то на лестницу.

Одноглазый не растерялся. Он быстро приволок к переборке пустой сундук и закрыл им только что сделанный лаз.

— Это ты, Цезарь? — вкрадчиво отозвался он, убедившись, что дыру заметить нельзя. — Слушаю тебя, сынок.

— Капитан послал меня узнать, не надо ли вам чего-нибудь... провизии или воды.

— Спасибо, Цезарь, — лицемерил Одноглазый. — Хвала богу, у нас пока все есть. А ты разве не с нами, сынок? Может быть, ты выпустишь нас отсюда?

Негритенок не ответил. В тишине громко прозвучали по палубе его удалявшиеся шаги.

— Негр ходит в сапогах. Вот так штука! — злобно зашипел португалец. — Ну, погоди, я доберусь до тебя, черная душа...

— За дело, ребята! Замолчи, Фред. — И боцман с фонарем в руках втиснул свое массивное тело в трюм. — Я мигом вернусь обратно, — глухо раздались его слова в темноте.

С нетерпением ждали пираты его возвращения.

— Не повезло... трюм плотно заставлен бочками, большими бочками с ворванью, — возвратившись, сообщил боцман, — я не нашел прохода, придется еще поработать, ребята. Часть бочек мы перекатим в кубрик. Дыру придется сделать пошире. * * *

На палубе между мачтами стояла длинная бронзовая пушка, стрелявшая тридцатидвухфунтовыми ядрами. Когда волны покрупнее опрокидывались на бриг, вода потоками уходила под палубу в том месте, где стояла пушка.

Городков, стараясь понять, почему протекает палуба, со всех сторон обошел грозное сооружение. Пушка стояла на круглом вращающемся лафете, и вода падала в трюм сквозь зазоры между деревянным кругом и досками палубы.

«Тут что-то не так, — соображал Семен, — палуба не должна протекать. Надо сказать Ивану».

К Семену, добродушно улыбаясь, подошел негритенок. Он хотел было позвать морехода обедать, но, поймав его хмурый взгляд, стал тоже присматриваться, стараясь понять, чем озабочен Семен. Когда новые потоки зашумели по палубе и вода с шипеньем прошла сквозь пазы в трюм, он радостно вскрикнул, тронув Городкова за рукав.

— Бум, бум, — показал негритенок на пушку, — так... в трюм. — И он плавно опустил ладони вниз.

Подойдя к срезу юта, Цезарь ухватился за круглую тяжелую крышку, как раз подходящую по размеру к палубному вырезу.

Теперь Городков понял. Пушку надо опустить в трюм и закрыть дыру крышкой, на которую показывал негритенок.

— Молодец, — сказал Семен, одобрительно погладив негритенка по голове.

«Прячут пушку, разбойники. И стрелять удобнее, — подумал Семен, — пали во все стороны».

Постукивая деревяшкой, он еще раз обошел орудие, повернул его, встал на лафет, попытался опустить пушку в трюм. Но лафет не поддавался.

— Я знай, — обрадовано сказал Цезарь, — надо там. — И он показал черной рукой на закрытый брезентом трюм.

«Опустить, что ли, пушку, — подумал Семен, — иначе затопит трюм; открою, пусть малый покажет». Городков приоткрыл брезент и вытащил одну доску. Трюм был загружен почти доверху. Здесь были бочки с золой и ворванью, закупленные капитаном Брауном в Архангельске.

Проворный, как кузнечик, негритенок мигом исчез в трюме. Он стал пробираться узким проходом, оставленным между бортом и рядом бочек. Проход был укреплен бревнами и досками. Негритенок нашел ручку подъемного механизма, и пушка медленно пошла вниз.

Почти у самого люка Цезарь услышал легкий шум, доносившийся откуда-то из-за бочек. Вытаращив глаза, он застыл от удивления: тяжелая бочка двигалась прямо на него. Негритенок верил и не верил своим глазам. Вот бочка пошла в сторону. В открывшемся узком проходе на четвереньках стоял одноглазый боцман и в упор смотрел на Цезаря. Холодный, жестокий взгляд пирата словно пригвоздил негритенка на месте, отнял у него язык.

— А, это ты, мой мальчик! — медовым голосом сказал Одноглазый. — Вот приятная встреча... Подойди сюда, сынок, помоги мне. — Кривая усмешка тронула его губы. — Да ты не бойся, — добавил он, видя, что негритенок дрожит от страха.

Боцман находился в затруднительном положении. Ему было явно не по себе.

«Если я двинусь, — думал он, — проклятый негр закричит, тогда все пропало... Что делать?» От напряжения изо рта боцмана стружкой потянулась слюна.

— Ты не собираешься помочь мне, сынок, — тянул он время, — нехорошо, бог накажет тебя на том свете. Может быть, тебе трудно сдвинуться? — Боцман не спускал глаз с негритенка. — Тогда я помогу тебе, помогу... — Изловчившись, он скакнул к негритенку.

С отчаянным криком Цезарь бросился бежать. Поздно. Боцман успел схватить его за ногу. Выхватив нож, он собирался прикончить негритенка. В этот момент на пирата обрушилось грузное тело Семена; раздался выстрел, и боцман, захрипев, закончил свои счета с жизнью.

Негритенок снова истошно завопил. В проходе между бочек показалась взлохмаченная голова долгового Майкла. Не потеряв и секунды, он волчьим скоком бросился на морехода. Несдобровать бы Семену, если бы не Цезарь: взвизгнув, негритенок вонзил острые зубы в руку пирата, и нож только слегка задел помора. Обернувшись, Семен схватил страшными ручищами Майкла за горло. Хрустнули позвонки, хриплый крик вырвался из его горла. Мелькнуло блестящее от пота лицо, расширенные от ужаса глаза Третьего вступившего в драку Семен уложил выстрелом из второго пистолета. Четвертый, осторожный португалец Фред, увидев разъяренного морехода, стал пятиться назад. В неукротимой ярости бросился на него Семен. Чувствуя свой конец, португалец закрыл руками глаза, обессилев от страха. Схватив его за волосы, Семен в исступлении стал колотить его головой о дубовые бочки...

В трюм прыгнул Химков: услышав выстрелы, он привязал штурвал и поспешил на помощь.

— Семен, довольно, — пытался остановить он друга. Но Семен словно сошел с ума.

— Федюшка, — хрипел он, страшно вращая глазами, — други, за вас!

С трудом оттащил Химков хрипевшего, задыхавшегося товарища от неподвижного тела португальца.

Пираты больше не показывались. Оставшиеся в живых поспешно укрылись в кубрике и завалили вход тяжелыми бочками и сундуками. Куда девалась их былая удасть! Встретив достойного противника, они оказались жалкими трусами.

Измученный борьбой Семен долго обнимал счастливого негритенка, доказавшего свою верность мореходам. С того дня Цезарь сделался полноправным членом маленькой команды брига. Когда Семен пришел в себя и поднялся к рулю сменить товарища, Химков не узнал его: угрюмое лицо Семена дышало неподдельной радостью.

— Пятерых... отомстил! — возбужденно сказал он. — А ежели они опять в трюм полезут, а

мы не заметим? Прикончить бы их всех, Ваня?

— Не полезут, Дружок караулит в трюме... да и атамана у них теперь нет, — успокоил друга Химков. — Людей убивать негоже, не каты[18] мы...

С приближением к Святому Носу ветер стал ослабевать. Море закрылось густым туманом. Мачты, паруса, такелаж — все покрылось тяжелыми каплями влаги. Берег должен быть близко, и Химков чувствовал это. Привязав снова рулевое колесо и прихватив негритенка, мореходы убрали лишние паруса. Шторм не прошел даром для брига. Химков увидел большую трещину, расколовшую грот-мачту.

— Ежели б чуть крепче ветер, — сказал он Семену, — пришлось бы нам у морского бога гостить.

Работать теперь было не в пример легче. К полдню туман стал редеть, видимость постепенно улучшалась, и скоро горизонт стал чистым и далеким.

Как-то сразу открылись плавные склоны гор Мурманского берега. Черные холодные скалы, запорошенные молодым снежком, быстро поднимались из воды; казалось, будто они несутся навстречу паруснику. Вот и Святой Нос — как знаком всем поморам этот суровый мыс! Сколько столетий встречает и провожает он мореходов в далекие плавания!

Из Горла Белого моря несло шугу, блинчатый лед. Химков направил парусник в узкую полосу чистой воды под Терским берегом.

— Благодать, тихо, словно по реке идем! — радостно обмолвился Семен.

— Верно, Сеня, тихо. А ежели б опоздали на неделю — в город не попасть. Все море в торосье одел бы мороз.

Под берегом зыбь почти не чувствовалась. Ветер стал еще слабее. Незаметно подбирался под одежду друзей холодок. Закуржавели паруса и снасти. Брызги мерзли на палубе, бриг обрастал ледяной шубой.

Химков задумчиво смотрел на восток. Проходили памятные места. Вспомнился Кровавый торос... Вспомнил отца, Наталью, верного друга Степана. Как сложится дальше судьба, что его прокормить детей?

На мостике появился негритенок. Глянув на него, мореходы не могли удержаться от смеха.

— Озяб мальчонка, — хохотал Семен, — ох, уморил!

— Чучело огородное, — вторил Химков. Обрядившись в длиннополый, до пят, капитанский кафтан, напялив на голову треугольную шляпу, Цезарь гордо вышагивал по мостику.

— Пойдем, — сказал он, схватив за рукав Химкова, — пойдем... каюта.

— Зачем в каюту? — удивился Иван. — Обед приготовил? Рано будто.

— Нет, нет, пойдем, — тянул Химкова негритенок.

— Пойди с ним, Ваня, — перестав смеяться, сказал Семен, — не будет он без дела звать.

В каюте негритенок обернулся и, весело оскалив белые зубы, сказал Химкову:

— Деньги, много.

С важным видом он открыл настенный шкафчик, где шкипер Браун хранил спиртное, и

пошарил рукой по стенам. Медленно отошла в сторону потайная дверца шкафчика, открыв нишу в переборке каюты.

— Деньги, — еще раз сказал негритенок, — боцман искал...

Теперь Химков рассмотрел большую шкатулку, прикованную цепью к железному кольцу. Волнуясь, он вынул шкатулку из тайника.

— Тяжела, — пробормотал Иван, с трудом поставив ее на стол. Осмотрев и ощупав шкатулку со всех сторон, он попробовал открыть ее ножом.

— Ну и крепка, не откроешь так-то, — с сожалением сказал он, сломав стальное лезвие.

— Смотри, — услышал он голос Цезаря. В руках негритенка блестел небольшой ключ. — Здесь нашел, — ткнул он пальцем на маленький карманчик капитанского кафтана.

Едва сдерживая нетерпение, Химков открывал шкатулку. Дважды повернулся ключ, послышался серебряный перезвон колокольчиков. Когда музыка замолкла, крышка открылась, и колокольчики снова зазвенели. У Химкова зарябило в глазах от множества золотых монет. Закружилась голова. Не веря глазам, он сунул руку в шкатулку. Золото, самое настоящее золото!

«Половину Семену, — мелькнула мысль, — не будет бедовать калека. Нет, всех оделить надо, кто погиб... сирот, вдов. — Он вспомнил о негритенке: — И ему».

Цезарь, видя радость Ивана, сам от души радовался: широкая улыбка не сходила с его черного доброго лица.

Химков крепко расцеловал Цезаря в толстые губы и бросился к товарищу поделиться большой удачей.

Шкипер Браун хранил деньги не только в подвалах торгового дома «Вольф и сыновья»... Как-то раз, напившись до бесчувствия, он забыл закрыть свой тайник, и негритенок узнал секрет своего хозяина.

Время шло быстро. Вот возник перед глазами приметный мыс на Зимних горах. Мореходы снова взяли за паруса. Бриг еще сбавил ход, и вовремя — впереди мельтешил низкий берег Мудьюжского острова. Химков не отходил от руля. Извилистый двинской фарватер требовал опытной руки и напряженного внимания.

В полдень следующего дня бриг «Два ангела» встал на якорь против обнесенных лесами куполов недостроенного Архангельского собора.

Поднявшись на борт парусника, таможенные, чиновники удивились царившей тишине и безлюдью. Ни штурмана, ни матросов на палубе не было. У носового трюма прохаживался негритенок в парадной капитанской одежде, да у фок-мачты лежала рыжая лохматая собака.

Еще больше удивились чиновники, открыв дверь капитанской каюты... Двое русских мореходов, развалившись на полу, спали тяжелым сном смертельно уставших людей. Офицер таможенной стражи так и не мог их добудиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В октябрьский холодный и дождливый день два больших завозных карбаса медленно подтягивали к пристани иноземный парусник. Мореходы, случившиеся на берегу, с удивлением разглядывали на зеленом корпусе брига русскую надпись «Святой Варлаам».

Еще больше удивились мореходы, узнав капитана, шагавшего на шканцах.

— Гляди, никак, Химков Ванюшка! — сказал кто-то, показывая пальцем на рослого мужика с русской бородой.

— Он и есть, — подтвердили из толпы...

— И Городков Семен на руле... Да он без ноги, калека...

— Смотри, смотри, арабчонок с ними!.. Когда парусник встал вплотную к берегу и его крепко привязали толстыми веревками к сваям, пристанские матросы положили сходни.

— Разойдись! — закричали в толпу показавшиеся на палубе стражники.

По сходням спустились, окруженные стражей, семь иноземных моряков. Звеня кандалами, они медленно, потупив головы, шли мимо архангелогородцев.

Трудно описать негодование мореходов, узнавших о злодействе пиратов. Они не уставали слушать рассказы Ивана Химкова и Семена Городкова.

Весть о гибели двенадцати мореходов с лодьи «Святой Варлаам» в этот же день облетела весь город. На панихиду собралась вся морская братия. Корабельная слобода гудела, словно потревоженный улей.

Вернувшийся с промысла Амос Корнилов обвинил в гибели мореходов купца Вильямса Бака. Он вспомнил конторщика Бринера, вспомнил Питер...

Толпа мореходов грозно двинулась к дому англичанина. Но контора ловкого дельца опустела: Вильямс Бак исчез. В городе поговаривали, что купец не забыл прихватить с собой солидную сумму казенных денег.

С первыми ноябрьскими метелями Степан Шарапов привез в Архангельск Наталью. Иван радостно встретил свою невесту. Приехал из Мезени Алексей Химков.

...Мягкая рука времени сгладила горе. Богатую свадьбу сыграл Иван Химков. Целую неделю гуляли мореходы. Посаженым отцом невесты был Степан Шарапов. А негритенок Цезарь, получив свою долю золотых гиней, остался жить в новом доме своего друга Семена Городкова. Его крестили в православную веру и назвали Федором в память зуйка Федюшки.

Еремей Панфилович Окладников, опасаясь расправы, уехал на время в Каргополь. Когда жениху рассказали о всех проделках купца, он, помрачнев, ответил:

— Придет время, сочтемся!

Вслед за Иваном, откупив заезжий двор, женился на Марфутке Петр Малыгин.

Чужие паруса не испугали русских людей, не смогли закрыть поморам путь на Грумант. По-прежнему в своих становищах мореходы готовят на промысел крепкие лодьи.

Снова настанут теплые дни, и сотни поморских судов, набрав в паруса ветра, побегут стайкой белокрылых птиц во льды Студеного моря.

«Седовцы», «Три зимовки во льдах Арктики», «Путь на Груммант», «Покорители студеных морей», «Чужие паруса», «По студеным морям», «На затонувшем корабле», «Секрет государственной важности», «Кольцо великого магистра» — вот книги Константина Бадигина, Героя Советского Союза, капитана дальнего плавания. Уже тридцать лет этот морской писатель, крепко приверженный к морю и его людям, к истории родного русского флота, создает эти всегда интересные и всегда познавательные книги. Главной целью их является стремление показать, что мореплавание зародилось на Руси в глубокой древности. Корабли наших предков бороздили воды Каспийского, Черного и Средиземного морей. В XI веке новгородцы на ильменских лодьях покоряли неведомые просторы Балтики, доходили до острова Готланда, до Копенгагена, а в 1184 году в ответ на разбойничьи набеги сожгли тогдашнюю столицу Швеции Ситгуну.

К. С. Бадигин рассказывает о Севере, где зародилось и развивалось морское племя архангельцев, мезенцев-поморов и кормщиков, где из могучих северных стволов строились добротные, не боявшиеся грозных штормов и льдов лодьи и кочи, на которых русские моряки доходили до дальних земель, промышляя зверя и рыбу.

Эта величественная тема истории русского мореплавания красной нитью проходит через книги К. Бадигина. Писатель наблюдательный, отлично знающий древний быт Русского Севера, проникший в красоту и сочность языка мореходов, историк, вникающий в детали староверческого уклада и поморских обычаев, и, уж конечно, прирожденный моряк, кто умеет передать суровую красоту наших северных морей, — К. Бадигин создает в своих книгах верную и яркую картину тогдашней эпохи и характеры отважных ее людей, неизменно показывая их мужество, смекалку, любовь к родине и тот неумемный дух открытий, который присущ людям, кто думает о будущем своей страны. Суровый северный океан воспитал этих сынов России. Шла борьба за российские богатства, на которые зарились английские и прочие иноземные купцы и промышленники.

Кроме отдельных эпизодов, все порою необычайные приключения отважных русских людей — не вымысел и даже не исключительный случай. Подобные происшествия и опасности постоянно сопутствовали плаваниям мореходов-поморов.

Несомненно, что биография писателя сказалась и на выборе им своей темы и на глубокой любви к студеным морям. Свыше сорока лет К. С. Бадигин проплавал на кораблях советского транспортного флота. В 1935 году комсомол посылает К. С. Бадигина в Арктику. Это были годы, когда советские люди осваивали Северный морской путь. В эту великую борьбу с суровой природой со всей молодой энергией вступил и моряк Константин Бадигин. Он начал тогда плавать помощником капитана на известном ледоколе «Красин». В свое первое командование, как капитан дальнего плавания, К. С. Бадигин получил ледокольный пароход «Георгий Седов». История его широко известна: легендарный дрейф начался осенью 1937 года и продолжался три зимовки — 812 дней. Он закончился в январе 1940 года. К. С. Бадигин и его товарищи за выполнение научных исследований и проявленное при этом мужество были удостоены звания Героя Советского Союза.

Осенью того же года появилась первая книга К. Бадигина «Седовцы», а за ней вторая — «Три зимовки во льдах Арктики». И как дальний отсвет этих героических лет в повести «Путь на Груммант» дана картина дрейфа мезенской лодьи «Ростислав», застрявшей во льдах и раздавленной ими. Те же сильнейшие впечатления молодости писателя легли в основу изобразительности и морских пейзажей и штормов, и всех тонкостей мореходства, драгоценных для читателей. И понятно, что за эти годы тираж поэм о Студеном море и его людях достигает двух миллионов экземпляров.

Константин Сергеевич Бадигин родился в 1910 году. Свое шестидесятилетие он встретил в расцвете сил и таланта. Мы уверены, что К. С. Бадигин подарит своему читателю еще не одну хорошую книгу.

Писатель делает большое и нужное дело. Книги его выражают и дух русского народа, и отвагу его, и умельство в мастерстве.

Леонид Соболев

Примечания

1

Судовом.

2

Большая зверобойная артель

3

Старший зверобойной артели

4

Юрки, связки сырых шкур, зверобои буксировали за кормой.

5

Наледнын промысел.

6

Весенний промысел на морского зверя в Белом море.

7

Шкафчика

8

Береговые.

9

Обломки льда, образующие подводную часть тороса.

10

Легенда записана писателем Б. В. Шергиным.

11

Опять.

12

Допрос с истязаниями.

13

Старинный почерк прямыми буквами.

14

Игуменья в беспоповском скиту.

15

Корзины.

16

Приспособление, надеваемое на ладонь, для проталкивания большой иглы при шитье.

17

Перевод с английского С. Я. Маршака.

18

Палачи.